

Ирина Красногорская

Предки моими глазами

Бабушка, бабушка,  
В чаще кладбищенской  
Следов мы твоих не нашли,  
С могилы твоей,  
Барвинком затянутой,  
Не взяли по горсти земли.

Но надо ж случиться,  
Что нашу дорогу в Либаву  
Судьба привела,  
В тот город у моря,  
Где ты, молодою,  
Счастливое лето жила.

Где с юной подругой  
Гуляла по пляжу  
В суконной жакетке смешной,  
Где синими розы  
Казались вам даже  
Под синей балтийской звездой.

Автобус стоял...  
Мы прошли по Либаве,  
Повсюду пунцовые розы цвели,  
Но внучка твоя  
С удивленьем сказала:  
«Здесь синие розы, смотри!»

Да, память потомков –  
Не в тверди металла,  
Не в вечности мраморных плит,

А в том, что однажды  
Твоими глазами вдруг  
Внучка на мир поглядит.

Моя бабушка по отцу, Евдокия Семёновна Красногорская (в девичестве Каминская), была неутомимой домашней рассказчицей. И рассказывала она не о каких-то там знакомых, а исключительно о родственниках, в основном о родственниках со стороны своей матери, вышедших из старого дворянского гнезда Малуколо. Находилось оно на Украине в Черниговской губернии, где-то близ нынешнего посёлка городского типа Сосница, кажется, в селе Киселёвка, а может быть, Кучиновка.

Выпало у меня из памяти название села: ведь ничего специально из бабушкиных рассказов я не запоминала. Мама и сестра были слушательницами ещё менее внимательными, скорее – неслушательницами мы все были. Бабушкины истории нас не интересовали. Не просили её замолчать только из вежливости. Считали, что рассказывает она больше для себя, чем для нас, из соображения – приятно вспомнить.

Человек очень энергичный, деятельный, бабушка не могла предаваться воспоминаниям, отдыхая. Она вообще отдыхала мало. Когда уставала от какой-нибудь домашней работы, уже в глубокой старости, говорила смущённо: «Пойду “бухнусь”», – и минут на двадцать прилегалась на кровать, оставляя ноги на полу. Зимой и летом она предпочитала носить лёгкие сапоги. Объясняла, что они дают ей устойчивость. Потом вскакивала, принималась за дела и говорила, говорила...

Мама моя, её невестка, наверное, в это время думала «о своём, о женском» (определение из популярной в недавнее время рекламы). Сестра моя сначала была мала, чтобы что-то запомнить, потом непоседлива и не оставалась дома во время этих летосказаний. Правда, в юности, когда я уехала в Москву учиться, она сменила меня как слушательница, но записать бабушкины истории так и не собралась. Вероятно, ей известны какие-то сведения, не дошедшие до меня. Но возможности собрать воедино бабушкины воспоминания у нас нет. Поэтому я ограничиваюсь тем, что запомнилось мне, и добавляю информацию о предках, почерпнутую из других источников, а также свои собственные воспоминания.

Итак, в XIX веке близ Сосницы жил помещик (естественно, дворянин) Аким Малуколо (Малоколо?). Родился он в начале века то ли до Отечественной войны 1812 года, то ли вскоре после неё. Так что его-то родители войны этой хлебнули, но выжили, не разорились настолько, чтобы не воспрянуть, чтобы дети, сын Аким, во всяком случае, по миру пошёл или на государственной службе себе на хлеб зарабатывал. Аким Малуколо никому не служил, существовал безбедно на

средства от своего, думаю, не очень большого поместья. Но однодворцем не был: имел несколько десятков крепостных, сотни десятин земли, отделяя из своей худобы кое-что в приданое дочерям.

Малуколо — какая фамилия странная, вроде бы и не украинская. Слышатся в ней греческие истоки: по-гречески, «колла» — клей. И то, что она литовского происхождения, предположить можно, если вспомнить, например, известную фамилию Ягайло. Но ассоциации могут увести и ещё дальше, в те времена, скажем, когда к черниговцам за помощью приезжал славный воевода рязанский Евпатий Коловрат. И Коловрат и Малуколо — фамилии сложные, в составе обеих слово «коло», что в славянских языках означает круг, колесо, обруч, окружность, мирская сходка. И вот только что вычитала в весьма распространённом источнике, доступном каждому, а не только исследователю-филологу, — в словаре иностранных слов: «коло (болг., сербск. коло — круг) — народная массовая пляска в круговом построении, распространённая в Югославии, Болгарии, Румынии и некоторых других странах».

Решила, что именно это объяснение подходит для разгадки фамилии Малуколо: какой-то мой пращур, возможно, серб или болгарин, любил круговую пляску и у себя дома устраивал малое коло. И делал это так часто, что получил прозвище «малое коло», ставшее позднее фамилией Малуколо. Впрочем, и по-украински коло — круг, так что не станем в дальнем зарубежье искать своего пращура.

Любил плясать, танцевать и Аким Малуколо. Был вообще весельчаком, как большинство рыжих. Да, он имел рыжие волосы и до глубокой старости, когда уже совсем поседел, звался в округе Рудый пан.

В двадцатых годах XIX века он женился на молодой дворянке Ульяне. Она родила ни много ни мало — восемнадцать детей, из которых выросли, стали взрослыми четыре дочери: Евдокия, Прасковья, Мария (?) и Анна — и сын Василий. Расставить точно по старшинству их я не могу.

Несмотря на бесконечные роды, заботы о детях, страдания, связанные с их смертью, тоже бесконечные, Ульяна была женщиной передовых взглядов и веяний, не отстающей в своей сельской глуши от светской моды. Она не только «солила на зиму грибы, служанок била, осердась», но и курила вошедшие тогда в моду длинные, тонкие «похитоски», одевалась и причёсывалась по последней моде. Когда пришла мода на короткую стрижку (подумать только, где-то в пятидесятые годы позапрошлого века!), Ульяна заставила дочерей обрезать косы. Прасковья воспротивилась: коса была едва ли не единственным её природным украшением. Ульяна безжалостно обкорнала ей, спящей, косу сама.

Помнится, что она была знакома с известной Анной Керн (Марковой-Виноградской). Признаться, когда бабушка как-то поведала мне об этом, я пропустила информацию мимо ушей. Учила тогда как раз «Я помню чудное мгновенье...» и не могла представить, чтобы мелкопоместные дворянки где-то в захолустье Киселёвки или Кучиновки знали с блестящей красавицей. Только

недавно поверила в возможность этого знакомства. Прапрабабушка общалась, конечно, не с известной генеральшей Керн, а с женой небогатого помещика Александра Васильевича Маркова-Виноградского. После смерти первого мужа Е.Ф. Керна Анна Керн вышла замуж за своего троюродного брата А.В. Маркова-Виноградского. «Чтобы хоть как-то сводить концы с концами, они вынуждены были многие годы жить в маленькой деревушке близ уездного города Сосницы — единственной родовой «вотчине» Александра Васильевича», — это уже не из бабушкиных воспоминаний, а из предисловия А.М. Гордина к книге А.П. Керн «Воспоминания о Пушкине». Этот околососницкий период жизни Керн длился с начала сороковых годов до середины пятидесятых. Так что не только Ульяна, но и её дочери могли встречаться с той, кому Пушкин посвятил «Я помню чудное мгновенье...».

В одной из своих тетрадей нашла давнишнюю запись, что девичья фамилия моей прапрабабки Ульяны — Маркова. Уж не родственницей ли она была любимому мужу «мимолетного виденья»?

Не буду утверждать, что бывшая возлюбленная Пушкина ездила к Малуколам в гости. Дамы, скорее всего, встречались на нейтральной почве.

Тогда в среде уездного дворянства очень распространены были всякие визиты и гостевания. Массовых увеселений мало, разве что какой-нибудь бал у предводителя дворянства, театров нет, до Чернигова ехать и ехать, вот и колесили мелкопоместные дворяне по округе, благо у всех имелись лошади, и не надо было раздумывать, чем потчевать гостей, подсчитывать, во что малый приём обойдётся. Большой приём — другое дело, тут уж приходилось раскошелиться и не только на угощения. Готовил их тогда не свой, а приглашённый повар, из города. Сад и дом украшались по-праздничному: гирлянды, масса свечей, на деревьях фонарики.

Перед одним таким приёмом у Малуколов горничная в глубокой тарелке готовила, растирала горчицу. Её кто-то позвал, и она оставила тарелку с горчицей и ложку в столовой. Заглянувшая туда немая служанка подумала, что в тарелке мёд, и, не медля, отправила в рот полную ложку.

Истощный вопль переполошил весь дом, возможно, и село. Рудый пан готов был открыть пальбу по невидимым разбойникам. Как всякий уважающий себя помещик, он имел оружие, висевшее в кабинете на ковре, и свору охотничьих собак, томящихся в безделье — возраст не позволял хозяину охотиться. Хозяйка первой сообразила, в чём дело, и отхлестала незадачливую воровку по щекам, «служанок била, осердясь». Служанка в то время уже двадцать пять лет как не была крепостной. Будучи глухонемой, она едва ли понимала это, едва ли как-то изменила своё отношение к панам. Вся домашняя обслуга Малуколов, бывшие крепостные и их вольные дети, после отмены крепостного права никуда от своих панов не ушли.

Однако это можно объяснить не только привязанностью к бывшим хозяевам. В книге «Записки Михаила Васильевича Сабашникова», автор которой почти ровесник моей бабушки, нашла я ещё и такое объяснение: «В соответствии с Положением об освобождении крестьян 19 февраля

1861 года крестьяне имели право выйти из крепостного состояния по обоюдной договоренности с помещиком без выкупа в том случае, когда они соглашались на минимальный, так называемый «даровой» надел». Надел же этот был настолько невелик, что прокормиться с него мало кому удавалось. Трезвые головы предпочитали свободе привычную обеспеченность.

Дом Малуколов отличался особым гостеприимством. Был тем, что теперь именуется открытым домом. Думаю, это объясняется не только общительностью хозяев, но и необходимостью: ведь в доме подрастали четыре дочери. Судьбу их следовало устроить достойно. Способ же тогда существовал один, тем более для людей с достатком – выдать замуж за приличного человека. Семьи беднее уже начали готовить из своих дочерей учительниц, отправляли их учиться в другие сёла и города. Малуколы, лишившиеся тринадцати детей, не могли оторвать своих девочек от дома, отправить их даже в институт благородных девиц не хотели. Впрочем, в него принимались сироты. Девочки воспитывались и образовывались дома. Каждая в силу своих способностей научилась писать, читать и считать, потом в зависимости от потребностей совершенствовала знания. Французского языка, в отличие от Анны Керн, они не изучали. Музыцировали? Не знаю, но в доме во время юности моей бабушки фортепьяно было.

Малуколам удалось выдать замуж всех дочерей. Причём никаких полков, а значит, и военных, потенциальных женихов, в то время близ усадьбы не было. Обошлись местными «кадрами».

Старшая, Евдокия, вышла замуж за дворянина, помещика Павла Орловского. Успела вырастить троих детей: Митрофана, Ивана и Евдокию – и оставила их круглыми сиротами. Да ещё без состояния: муж оказался картёжником, что тогда было не редкостью. Но всё-таки Иван на какие-то средства закончил духовную академию, но жениться из-за ограниченности средств не рискнул, постригся в монахи. Жил, однако, не в монастыре, а на квартире, преподавал в женской гимназии биологию. Митрофан стал чиновником небольшим, тоже не женился, всю жизнь помогал сестре. Умер рано. Скоропостижно. Его кончина обсуждалась в округе, как событие, демонстрирующее деликатность, дворянское благородство умершего. Будучи в гостях, он почувствовал себя худо, но не обеспокоил собравшихся своим состоянием, не обременил просьбой о помощи. Ушёл, не прощаясь, лишь написал на пыльном стекле письменного стола в кабинете хозяина: «Я пошёл домой». До дома он не дошёл...

Таким образом, братья Орловские не понесли дальше, в двадцатый век, генов Малуколов. Дуня Орловская вышла замуж за дворянина Дубовицкого и родила кучу детей, среди которых были и мальчики, носители фамилии.

Возможно этот Дубовицкий из того же дворянского рода, что и рязанские Дубовицкие, имевшие черниговское происхождение. В Рязани Дубовицкие известны краеведам потому, что из их семейства вышла одна из первых русских женщин-художниц Надежда Александровна Дубовицкая

(1817 — 1897), а отец её Александр Петрович был основателем секты скопцов в Рязанской губернии и за свои убеждения и изуверские действия не раз отбывал ссылку. Ездил он по каким-то личным делам и на Украину, где у него якобы имелись родственники. В книге Г.К. Вагнера «Рязань» приведены репродукции портретов этого самого Дубовицкого и его жены, написанные Боровиковским. Подлинники, хранившиеся до Великой Отечественной войны в Киеве, утрачены.

Одно время я занималась историей этого семейства, рылась в бумагах ГАРО, читала переписку Дубовицких. Меня интересовала судьба художницы и то, были ли рязанские Дубовицкие в родстве с черниговскими. Мои копания привели меня к выводу, что этот род на протяжении XIX века скудел. Дубовицкие, мужчины, вынуждены были служить, и становились не военными, как было принято прежде в дворянских семьях, а разночинцами. Брат художницы, Пётр Александрович, например, стал врачом. Правда, не просто врачом, а доктором медицины, профессором и десять лет был президентом Петербургской Медико-хирургической академии. Но этих званий и должностей он достиг своими способностями и трудолюбием. В Рязанском уезде ему после смерти отца стало принадлежать имение Стенькино.

Был каким-то чиновником и муж Дуни Орловской-Дубовицкой.

Обнаруживается этот родовой упадок, оскудение и при сопоставлении портретов двух женщин, носивших одну фамилию в XIX веке. На портрете кисти Боровиковского (первая четверть века) Мария Ивановна Дубовицкая – прекрасная, богатая, успешная дама. На фотографии (конец века) Евдокия Павловна Дубовицкая, моя двоюродная бабушка, – простая баба, крестьянка или мещанка, не сумевшая и перед фотографом скрыть своих повседневных, мелких забот, одетая кое-как, потому что надо о дочерях думать, об их нарядах, им готовить приданое.

Через сто лет, то есть в конце XX века мне довелось воочию увидеть ещё одну представительницу этой фамилии, ночевать у неё в доме. Тамара Дмитриевна, по мужу Дубовицкая, директорствовала в сельской школе. Это красивая, современная, деловая женщина. Человек она энергичный, смелый, рискованный, что само собой разумеется, когда ты директор школы. Она любит и умеет наряжаться и тут тоже проявляет смелость: видела её как-то в экстравагантном брючном костюме, где прозрачный шифон пребывал на грани едва допустимого, видела и в старинном наряде яголдаевской крестьянки, представляющем собой музейную редкость. (Яголдаево — старинное село в Рязанской области.)

Недавно узнала, что Тамара Дмитриевна разошлась со своим мужем. Мастер на все руки, но человек без определённой профессии, к тому же очень пьющий, он работал в последнее время в школьной котельной. О своих пращурах знал только, что они из Черниговской губернии.

Думаю, что на его судьбе род Дубовицких дошёл до самой нижней точки амплитуды – теперь начинается подъём. Его сын Андрей получил высшее образование, преподавал в школе. Интересно, что мои сыновья там работали одновременно с Андреем, но с ним не подружились. Американ-

ские же исследователи, занимавшиеся родовыми связями, утверждали, что представители одного рода, даже не будучи прежде знакомы друг с другом, при случайной встрече всегда выкажут друг другу искреннюю симпатию, выберут произвольно для игры своего неизвестного родственника. В школе этого не случилось. Но от вывода воздержусь...

Прасковья Малуюколо тоже не нарушила дворянских традиций: стала избранницей дворянина Набокова.

Небольшое отвлечение по поводу украинских дворянских фамилий. Украинские дворяне (имеются в виду старинные роды) происходили в основном из польских магнатов и присоединившейся к ним позднее шляхты. Их родовые фамилии, как я недавно где-то вычитала, несут информацию о принадлежности к определённому рангу знатности. Так, наиболее знатные получали фамилии, оканчивающиеся на «кий» — Вишневецкий, Потоцкий, Острожский. Безгербовые дворяне, те, кто во времена давние был при рыцарях ординарцем, оруженосцем и каким-то иным помощником, имели фамилии с окончанием «ич» — Ковтунович, Засулич. Сейчас такие фамилии распространены в Белоруссии. Думаю, потому, что эти безгербовые дворяне получали там земли, менее плодородные и обжитые, чем на Украине. (На еврейские фамилии с теми же окончаниями отвлекаться не буду.) Набоков же — фамилия русская, никакой информации не несёт, кроме того что носили её в России люди известные, из которых в наши дни известность сохранил разве что русскоязычный писатель.

Итак, две девушки из дома Малуюколов вышли замуж за дворян разного ранга знатности. Однако ранг в их время уже не определял уровня состояния. И Набоков оказался богаче любителя карточных игр Орловского. Но на свете он также не зажился: оставил сиротами трёх дочерей и сына да безутешной вдову. Прасковья Акимовна ныла и плакалась, пребывала в постоянной хандре, но своего состояния на ветер не пустила и умудрилась выучить сына в университете. Дочери её остались без образования, но не по вине матери, а по своему желанию. Вообще, у меня сложилось представление, что с матерью они не очень считались.

Вера Набокова, вопреки материнскому желанию, увещеванию и страданиям, не захотела выходить замуж. По-моему, она была бунтаркой и сражалась за независимость, как Катарина в «Укрощении строптивой». Была резка, неуживчива, категорична, отваживала женихов.

Тогда было возможно приехать молодому мужчине в незнакомый дом, где жила девушка, взглянуть на неё. Если девушка понравится, потом приехать ещё несколько раз, затем посвататься. Вера считала эту традицию оскорбительной и кандидатов в женихи гнала, иногда не очень деликатно. Пошла о ней по округе дурная молва. «Укротителя» на Веру не нашлось, хотя она имела приданое и была недурна собой.

Анна мечтала о платонической любви. Девушки в 80-х годах XIX века (к этому времени относится начало бабушкиных воспоминаний) были просвещены в какой-то мере относительно секса и вели на эту тему разговоры. Да и как могло быть иначе, если с шестнадцати лет для многих из них открывалась карьера жены и матери. Удалось ли Анне осуществить задуманное, её собеседницы-сёстры не узнали, но детей Анна не имела. Прожила с мужем душа в душу восемь лет и овдовела. Их семейная жизнь запомнилась моей бабушке театрализованными представлениями, которые супруги разыгрывали для себя, разнообразя жизнь. Муж вдруг являлся к Анюте гостем, причём едва знакомым. Она его соответственно принятому образу встречала, потом провожала. В другой раз она перевоплощалась в незнакомку, в андерсеновскую принцессу, которая мокла у входа в дом под дождём, а потом отказывалась спать на горошине. Анюта была тихой девушкой, стала благонаправленной дамой. И вот тебе – «сам себе режиссёр».

Сущей егозой выглядела младшая, Маруся Набокова. Она пела, плясала, скакала.

Бабушка со смущением и восторгом вспоминала такой эпизод. Собрались летом в имении Малуколов гости, понаехали внуки и внучки, среди них пятнадцатилетняя Маруся. Взрослые гости – цвет уезда: помещики-соседи, предводитель дворянства, благочинный, исправник. Этот цвет, однако, не чурался игр и танцев на свежем воздухе. Дело дошло и до неперемного малого коло. Водили его под собственное пение: «Ой, лопнул обруч...» В центре круга отплясывала Маруся и – вдруг угрешилась, как говорили тогда. Ей бы сквозь землю провалиться, а она не смутилась даже особенно, воскликнула: «Лопнул! Лопнул!» – и с хохотом выскочила из круга.

А какая-то её родственница ехала со своим дядей в повозке и не решилась сказать, что нуждается в остановке, и умерла несчастная от разрыва мочевого пузыря. Близкие её жалели, но не корили за глупость: самым действенным, сильным запретом тогда для девушки-дворянки было понятие «неприлично».

Маруся этим понятием пренебрегала. Потому в пятнадцать лет отправилась в Чернигов к архиерею просить разрешения на брак с молодым красавцем Ковтуновичем. Брачный возраст тогда начинался с шестнадцати лет. Архиерей, добрый старик, уговаривал её ласково, по-родственному: «Деточка, не надо спешить. Супружеские обязанности и заботы, материнство раннее могут тебя сломать. Окрепнуть нужно». Но не устоял владыка, не вынес девичьих слёз. Просительница к тому же была такая хорошенькая! Как такой откажешь!

Уговоры родственников для Маруси и вовсе ничего не значили. А противились они этому браку не только из-за юного возраста невесты. (Мать ещё не забыла, что одна из её бабушек вышла замуж в двенадцать лет и вместе с обычным приданым привезла в дом мужа кукол.) Родственников не устраивало то, что красавец Ковтунович – не настоящий дворянин, однодворец, сильный хозяин, то есть, по терминологии более поздней, кулак. Богатый, успешный молодой человек, но другого круга: бедная девочка в его семье опростится, надорвётся на мужицкой работе.



Она не надорвалась, сменила скромное платье небогатой дворянской девушки на дорогой яркий украинский народный костюм и заставила всю новую семью плясать под свою дудку. А украинский костюм ей очень шёл. Убранная пёстрыми лентами и монистом в расшитой рубашке, в короткой плахте, которая красиво открывала её стройные ноги в красных сапожках, Маруся стала появляться на вечеринках у родственников и даже знакомых вскоре после родов. В шестнадцать лет она родила мальчика и всюду таскала с собой, как куклу. Во время танцев оставляла его где-нибудь в соседней с залом комнате, почему-то зачастую на комод. Младенец не зажился и развязал ей руки на какое-то время. Детей у Маруси потом было много, и мальчики продолжили фамилию.

Несколько слов о брате Веры, Анюты и Маруси. Василий Набоков, в детстве звавшийся родственниками Васютунчиком, получил хорошее образование, окончил университет и служил товарищем прокурора. Моя бабушка, её звали родственники Дуней, не любила его с детства: он кичился своим большим, чем у неё, точнее, у её родителей, состоянием. Во время их детских ссор, указывая ей на её место, он говорил шепеляво: «Сто ты, сто ты! – у меня сто десятин». У Дуниных родителей их было всего четыре. Но надо заметить: Васютунчик напрасно важничал – дворянские имения, не превышающие 100 десятин, относились к мелкопоместным.

Кстати, в Рязанской губернии большинство дворянских владений были мелкопоместными. Причём большую часть составляли имения до 50 десятин.

Дуня и её двоюродный брат были ровесниками. Детская неприязнь и во взрослые их годы сохранилась. Так что едва ли они виделись часто. Бабушка о «товарище прокурора» рассказывала мало. Кажется, у него были сыновья, так что и среди Набоковых могут быть наши родственники.

О третьей дочери Малуколов (кажется, её звали Мария) помню только то, что она способствовала, впрочем, весьма косвенно женитьбе моего деда Никиты Красногорского на моей бабушке. Где-то эта бабушкина тетушка и Никита Красногорский встречались. В ту пору он был занят поисками невесты и «прочёсывал» округу, бывая то в одном, то в другом селе с визитами у сельской интеллигенции. Дед готовился стать дьяконом и должен был обязательно жениться. Перспектив служить в городе он не видел, а потому городские девушки его не прельщали. Женитьба являлась частью карьеры, и подходить к ней следовало с умом, не ждать легкомысленно, когда придёт любовь. Но и не предлагать руку первой встречной. Побывал он у засидевшейся в девицах Веры Набоковой. Увы, посещение это его не обнадёжило. О чём он и поделился с её тётушкой, сказал, что объездил всю волость напрасно. «А Дуню Каминскую вы не видели? – спросила тётушка. – Обязательно поезжайте!» – И дала адрес.

С этой безымянной тётушкой я связываю ещё один любопытный родовой факт. Представляется мне, что именно она вышла замуж в тридцать шесть лет за молодого помещика, человека моложе её вполтину. От этого брака не было детей, но жили супруги прекрасно.

Кстати, особа, вошедшая в историю как Анна Керн, была старше своего второго мужа примерно настолько же.

Продолжателем рода Малуколов был Василий Акимович, сын Рудого пана, помещик, избравший не военную, а чиновничью карьеру. Он служил в сосницкой Управе. Какое-то время вроде бы занимал должность земского начальника.

«Земские начальники назначались из числа дворян и надзирали за крестьянскими сельскими и волостными учреждениями (сходками, волостными правлениями, волостными судами), могли назначать в них и смещать должностных лиц, утверждали решения сельских учреждений о наказании виновных».

Разумеется, Василий Акимович не бедствовал материально, хотя, конечно, устроился на службу не из любви к искусству, а потому, что имение не давало былого дохода.

Скудели дворянские хозяйства. И это касалось не только имений наших предков и тех дворян, с которыми они роднились. Это было общее явление. Проследив его на примере нашего рода, я какое-то время чувствовала себя едва ли не первооткрывателем, так как не помнила, чтобы об этом говорилось на уроках истории в школе и на лекциях в институте. И вот опять-таки у Сабашникова вычитала:

«Медленно угасало дворянство. С падением крепостного права оно перестало играть ведущую роль в экономике страны, оно утрачивало своё влияние, распалось как класс. Быстрое вздорожание земли обеспечивало лишь его представителям время для безболезненного приспособления к новым условиям жизни. Не более того давали и не достигшие цели мероприятия правительства, направленные к усилению значения дворянства. Преимущества по службе, идя навстречу общему тяготению дворянства к государственной службе, несомненно, ускоряли отход помещиков от земли и от хозяйства».

Интересные аналогии и выводы напрашиваются после этого заключения уже о временах не столь давних, о разорении советских деревень поголовным устремлением их жителей в города, но не буду отвлекаться.

Василий Акимович служить начал ещё до отмены крепостного права. Подтверждением этого является тот факт, что в город он взял крепостную девушку и прожил с ней как с женой до шестидесяти лет, имел детей, которых, однако, не усыновил, но всем дал хорошее по тому времени образование. А в шестьдесят лет неожиданно разочаровал своих семейных сестёр и племянников с племянницами, поскольку лишил их надежд на наследство – женился на учительнице, которая бы-

ла моложе его на тридцать лет. Он знал свою избранницу буквально с её пелёнок, присутствовал на крестинах новорождённой. Что случилось в этой романтической ситуации с его «барской барыней», бывшей крепостной, не знаю, а молодая жена успела родить троих детей. Им досталось приличное наследство, которым они воспользоваться в зрелые годы не смогли: революция всё изменила. До революции Василий Акимович не дожил, как и его сестра, а моя прабабка Анна Акимовна.

Анна Акимовна Малуколо родилась в 1837 году. Дату эту я вычислила так: бабушка рассказывала не раз, что последнего ребёнка, мальчика Ванечку, Анна Акимовна родила в сорок пять лет. Мальчик этот был на пять лет моложе моей бабушки, которая уж точно родилась в 1877 году.

Лет двадцати, а то и раньше Анна Малуколо вышла замуж да ни как-нибудь, а убегом! Избранник её, Семён Каминский, не был дворянином, не имел средств, чтобы содержать жену, не говоря уже о детях, не был чиновником. Зато был красив, весел, умел играть на скрипке и гитаре, пел и кружил девицам-дворянкам головы на сельских дворянских вечеринках. На вечеринки эти он был вхож как сын священника. И как сын священника мог бы пойти по стопам отца, если бы окончил духовное училище, но учиться он не хотел. «Не хочу учиться, а хочу жениться». И женился. Легкомысленный поступок молодых привёл их родителей в ярость. Они лишили молодожёнов всяческой поддержки. Особо ощутимо пострадала строптивая невеста – не получила приданого. Правда, когда она родила первенца, Аким Малуколо сжалился и кое-что ей всё-таки подбросил – четыре десятины земли и четырёх крепостных: челядник и челядница (это рабочие по двору), горничная и кухарка. Да ещё нянька к Анюте напросилась, горбатенькая. (После отмены крепостного права все эти работники остались у Каминских.) Молодой муж взялся за ум: стал волостным писарем, сельским псаломщиком и регентом церковного хора. Служба его приносила гроши. Жили в основном натуральным хозяйством. Анна оказалась женщиной предприимчивой. Организовала небольшую молочную ферму, стала делать очень хорошее масло, которое пользовалось большим спросом на железнодорожной станции Мена. Выжили влюблённые! Родили десять детей. Вырастили троих, Якова, Евдокию и Ивана.

Яков Каминский родился в 1867 году. Окончил фельдшерское училище, врачевал потом в ближайших к Соснице сёлах. Ненавидел своих пациентов, вернее мужиков. Любил говорить об их глупости, грубости и невежестве. Но рассказы его в бабушкиной интерпретации превращались в анекдоты. Такой, например.

Приходит к нему мужик, просит: «Яков Семёнович, трубочку мне поставьте, ту, что жар вытягивает». – «Градусник?» – не сразу сообразил целитель. «Вот-вот! Очень мне от него вчера полегчало!»

Жизнь фельдшера Якова Каминского похожа на ту, что описывали Куприн и Вересаев. И так же, как герои их рассказов, от скуки, от отсутствия близких ему, хотя бы по образованию, людей, он пристрастился к наркотикам, благо профессия давала такую возможность. Началось всё с собственной болезни, боли, которую он не смог превозмочь. Болезнь вызвал несчастный случай: Яков замахнулся на крестьянскую лошадь, забредшую к нему на подворье, и вывихнул руку. Сделал себе укол какого-то обезболивающего – и пошло...

Бабушка рассказывала, как узнала о его пагубном пристрастии. Он приехал как-то к ней в гости (она уже была замужем) и то ли забыл взять с собой наркотик, то ли хотел устоять, сменив обстановку. Но только не выдержал ломки и ночью с криком в одном белье помчался по селу – она также полуодетая бросилась за ним.

Я очень отчётливо в детстве представила себе картину этого странного ночного бега. Залитая светом луны пустынная сельская улица. Белые хатки по обе стороны поросшей муравой дороги. Бегущие по ней две фигуры в белом. Таинственно, красиво и страшно.

С этим недугом Якова связан ещё один запомнившийся мне эпизод. Бабушка была недовольна своим носом, который я не считала каким-то необычным. Она же уверяла, что прежде, во времена её молодости, нос был куда лучше, а таким стал после того как на ночной призыв Яши о помощи она вскочила и спроне ударилась как-то очень неудачно о металлическую спинку кровати, украшенную какими-то острыми выступами.

Яков Каминский, как и положено наркоманам, умер рано, лет сорока с небольшим. Семьёй не обзавелся сознательно, говорил: «Не хочу нищету разводить». Помогал, как мог, сестре. Заботился о племянниках, но не продолжил рода Каминских.

Иван Каминский тоже предпочёл остаться холостяком, как старший брат и двоюродные братья их Орловские.

Думаю, случилось это потому, что молодые люди, вышедшие из дворянской среды, жили по её запросам, каких в среде провинциальных разночинцев не могли удовлетворить: заработанных средств им хватало лишь на то, чтобы самим жить более или менее прилично. Хваткой же предпринимательской они не обладали. Явление это тоже было повсеместным. Ему посвящена пьеса А. Чехова «Вишнёвый сад». Из дворян, даже небогатых, не выходили Лопухины.

Да, дед братьев Каминских со стороны отца был тоже дворянского рода, совершенно оскудевшего, потому и стал священником. Бабушка о нём почти не рассказывала. Но я его почему-то представляла с детства: величественный благообразный старик в рясе (тогда я ряса ещё ни на ком в реальной жизни не видела), с густыми седыми вьющимися волосами, закрывающими шею и не достающими плеч. В моём представлении он неизменно сидел в кресле, боком к камину, о котором я знала по книгам. Сейчас я тоже вижу этого прапрадеда так же. Могу, правда, представить его, играющим на фисгармонии. Эта фисгармония потом досталась бабушкиному отцу в наследст-

во. Больше никаких подробностей о Каминских. Не помню даже, как звали прапрадеда, может быть, Яков.

Иван же Каминский унаследовал весёлый, лёгкий характер отца. Так же, как он, не захотел серьёзно учиться, не получил никакой определённой профессии в дополнение к своей красоте, к своему обаянию. В селе не осел, жил в одном из ближайших городов, служил в полиции, потом во время Первой мировой войны в жандармерии. Бабушка говорила, что там и там был только писарем – унаследовал от отца и прекрасный почерк. (Впрочем, так говорилось в советское время, возможно, для конспирации; фотография красавца тогда хранилась в самом укромном месте, в деревянном чемодане, называемом «коробкой», и показывалась лишь очень близким людям.) Война занесла Ивана в Галицию. Знаю это не по воспоминаниям, а по комментариям бабушки. Над моей кроватью и над кроватью родителей долгое время висели ковры, о которых бабушка говорила: «Их Ваня привёз из Галиции».

Галицинского происхождения были и две картины, висевшие в нашей квартире перед Второй мировой войной. На одной – неаполитанские рыбаки в красных платках на голове, в завёрнутых по колено штанах тянут сеть с рыбой, другая – женский портрет, какая-то простолюдинка с красной лентой в волосах. Мой отец говорил, что это картины работы старых мастеров. Картины пропали во время Второй мировой войны. Может быть, стали ещё чьим-то трофеем, своеобразной эстафетой войны. Считаю: это справедливо, что они ушли от нас. Нельзя наживаться на чужом несчастье. Боюсь чужих вещей. Правда, коврик свой я очень любила и никогда не задумывалась, что он был до меня чьим-то. И прожил он долгую-долгую жизнь. Папа к нему да и к тому, что висел над его кроватью относился высокомерно, говорил, что это машинная австрийская работа, демонстрирующая дурной австро-венгерский вкус. На том и другом ковре были недопустимые для настоящих, восточных, ковров изображения. На моём – какие-то не то яблоки, не то персики, на родительском – персидский базар. Но какова ни была бы материальная ценность этих вещей, они имели ещё другую, истинную для меня – были носителями родовой, исторической информации, теми немногими вещами, что остались от предков.

То ли трофеи, ли ещё какие-то прегрешения Ивана Каминского стали причиной тому, что жизнь его сложилась весьма трагично. Попал он в жернова времени. Ему бы раньше родиться, во времена Дениса Давыдова, то есть во времена даже не дедов своих, а прадедов.

Мой отец рассказывал о дяде Ване с неизменной любовью и восторгом: видел в нём того, кого называют настоящим мужчиной. Страстный охотник, знаток оружия, он научил своего племянника, моего отца то есть, стрелять, любить боровую охоту и охотничьих собак, сеттеров: во времена папиного детства у них жил привезённый дядей Ваней пёс, ирландский сеттер Пират. Мастер на все руки, Иван привил племяннику любовь к металлу и к инженерии, сознательно или случайно

подарив книгу, кажется, Жюль Верна, главным героем которой был инженер. И, наконец, как Овидий, был первым наставником племянника в науке любви.

По словам бабушки, учительницы и фельдшерицы бесстыдно вешались Ивану на шею, не заботясь о последствиях. С нравственностью в то время едва ли дела обстояли намного лучше, чем теперь. Всяческие запреты касались в основном девушек, невест. Эмансипированные же девицы, отчаявшиеся выйти замуж, дамы замужние запретами пренебрегали. Так, одна из этих смелых и неосторожных особ уступила красавцу прямо в гамаке, висевшем вблизи от входа в дом моей бабушки. А там в это время было полно гостей. Репутации красавца этот курьёз, конечно, не повредил, а даму хозяева больше у себя не видели.

Во время революции Иван стал на сторону красных, а потом заметался: переходил то к Будённому, то к Деникину. С деникинцами в начале апреля 1920 года оставил Россию, попал в Африку, побывав в Турции. В Константинополе болел сильнейшей дизентерией, а может, даже холерой. Медики уверены были, что не выживет, как не сомневались в этом и его товарищи. Один из товарищей, исполняя просьбу умирающего, купил ему на базаре солёный арбуз. Иван съел его – и начал поправляться.

Африканской жизни он не мог вынести, ностальгия замучила. Умудрился как-то вернуться на родину, хотя представлял, что его там ждёт. Поселился у сестры. Село, где она жила, находилось, в общем-то, не за тридевять земель от того города, где он служил прежде. Но никто на него особого внимания не обращал, вопросов опасных не задавал, революция разметала людей, так что он спокойно какое-то время работал сельским продавцом.

Однажды после воскресного обеда прилёг отдохнуть, и в это время неожиданно явился его прежний сослуживец, приехал навестить. Так он объяснил хозяевам дома своё нежданное вторжение. Моя бабушка пошла будить брата – и нашла его мёртвым. Случилось это в 1924 году. Ивану Каминскому было сорок два года.

Объясняя его внезапную кончину, бабушка говорила, что умер он от разрыва сердца: испугался своего непрошеного гостя. Визит того, по её предположению, должен был повлечь или арест Ивана, или втянуть его в контрреволюционную деятельность.

Смерть Ивана тяжело переживали не только его родственники, но и Пират. Он вдруг отбился от дома, стал убегать со двора, выл, сидеть на цепи не желал, да и не был к ней приучен. Бегая по селу, пугал женщин, рвал кур. Пришлось несчастного пса, бывшего общего любимца, пристрелить. Странно, что отлучки хозяина, даже его вынужденную «командировку» в Африку, Пират переносил спокойно, со смертью смириться не смог.

Иван был любимым бабушкиным братом. Она же – любимой сестрой обоих.

Родилась моя бабушка любимая 1 марта по старому стилю 1877 года на Евдоху Плющиху, так назывался народный праздник, знаменующий первый день весны. По поверью, если в этот день курица напьется воды из лужицы, быть дружной ранней весне. Не знаю, каким был этот день в 1877 году. Для семейства же бабушки ничего радостного, светлого он не принёс. Девочка родилась очень слабенькой, не закричала ни сразу, ни потом, когда повитуха приняла соответствующие меры. Решили новорождённую вынести в сени на мороз, чтобы ускорить переход «никудышнего дитяти» в мир иной. Решили, так и поступили! Только горбатенькая нянька, нянчившая некогда мать новорождённой, сжалилась над дитятей и завернула в кожу.

Лежала девочка в кожухе на полу сеней и не умирала, и вдруг плакать начала жалобно. Тут уж у няньки совсем сердце не выдержало – внесла её в комнату, убедила мать, что повитуха ошиблась в своём приговоре. Малышка, Дунечка, пришла в себя и принялась расти на удивление домочадцам. Её же вполне здоровенькая, резвая сестричка пяти лет вскоре умерла от дифтерита. Любопытная подробность: когда эта девочка, Маруся, заболела, Анна Акимовна, по наставлению не то знахарки, не то колдуньи, чтобы спасти её, укладывала Дунечку к ней в постель, надеясь, что болезнь оставит больную, перейдя к младенцу.

Раннее детство бабушки ознаменовано для меня только единственным эпизодом. Ей лет пять-шесть, бегает по саду, заглядывает в беседку. Там сидит старший брат Яша и курит. Увидев её, предупреждает: «Дунечка, не говори маме, что я курю». Дунечка согласно, понимающе кивает. Тут же бежит к матери и сообщает: «Мама, я не скажу вам, что Яша курит».

В девять лет её отправляют в имение Малуколов, в школу, видимо, земскую. В их селе школы не было. Родители вынуждены были расставаться с детьми рано, чтобы они получили хоть какое-то образование. Старший брат в это время уже учился на фельдшера. Дома оставался утешать мать младший, последний ребёнок, как говорится, «поскрёбыш» — противное какое-то название.

Дуня попала к Малуколам, когда там жила её двоюродная сестра-тёзка, Дуня Орловская, когда жил там Васютунчик. Так что скучать со стариками не приходилось.

Дом был большой с залом, гостиной, столовой, комнатами домочадцев. Она жила в одной комнате с Дуней и очень к ней привязалась. Старшая сестра заменила ей мать. Не помню, чтобы бабушка рассказывала о сердечном к себе отношении Малуколов. Они были очень сдержаны в проявлении своих чувств, что не мешало им быть гостеприимными, радушными хозяевами. Свою нежность к внучке Рудый пан проявлял обычно так: когда она приезжала к ним к началу учебного года, брал её за руку и с заговорщицким видом вёл в конец сада, там рос особый сорт поздно поспевающей малины, ягоды с которой он не позволял снимать до приезда внучки. Прапрабабушкиных нежностей не помню. Возможно, она была равнодушна к внукам. Сколько их мельтешило перед её глазами! А вот комнатных собачек любила. Одна из них, Фиделька, была избалованна так, что сидела с хозяевами за столом. Пан давал ей есть из своей тарелки.

Недавно от одной дамы слышала, что она хотела бы завести собачку, но «батюшка не рекомендовал – нельзя нечистую тварь в доме держать». Мои прапрадеды и их современники – были людьми, безусловно, православными, но собак держали в доме, держала их в своё время и Екатерина II, которая, как известно, приняла православие.

Учиться долго бабушке не пришлось. Курс её науки длился всего три года. Мать забрала девочку домой, хотя можно было ещё год постигать школьные премудрости. На робкие просьбы Дунни позволить ей учиться дальше в гимназии или прогимназии следовало категорическое «нет». Учиться дальше – значило оторваться совсем от дома, уехать в большой город, скорее всего, в Чернигов, так как едва ли в ближайших уездных городках тогда были гимназии, а уж женской так точно не было.

В Нежине была мужская гимназия, знаменитая тем, что в ней некогда учился Гоголь.

Анна Акимовна здраво рассудила, что образование дочери ни к чему. Выйдет замуж и без знания иностранных языков, физики и географии. В той среде, куда её занесёт замужество, женщины должны быть, прежде всего, хорошими хозяйками. Пускаться в умные рассуждения, щебетать по-французски, играть на фортепьяно им не придётся. В том, что хорошенькой девочке в будущем путь в дворянскую среду заказан, она не сомневалась. Попрыгает в мазурке, попоёт под фортепьяно в дедушкиной зале, наслушается комплиментов от соседей-помещиков, тем всё и кончится: не дворянка Дунечка и бесприданница. Быть ей женой фельдшера или купца, учителя или дьякона. И принялась Анна Акимовна готовить Дуню к взрослой жизни и одновременно копить деньги ей на приданое, которое, однако, вовсе не собиралась вручать будущему зятю. Деньги предназначались дочери на тот крайний случай, если с мужем у неё жизнь не заладится или, не дай бог, он умрёт.

Дуня в девичестве отлично выучилась женскому рукоделию. Умела прясть, шить, вышивать и вязать, причём предпочитала спицы крючку.

У меня сохранились вывязанные ею, шестнадцатилетней, красивые прошвы. Сделаны они из тончайших ниток и так плотны, что кажется, будто вязала их совершенная машина последнего выпуска. А им больше ста лет. Сохранился у меня и так называемый «мордовский» костюм, некая модная в годы Первой мировой войны стилизованная женская одежда из кружев и вышитых крестом цветных полос. В таких костюмах щеголяли, например, и фотографировались дочери Толстого. Такой костюм бабушка сшила и вышила для своей дочери, правда, та ей помогала. Популярность этого фольклорного костюма бабушка объяснила скудными у сельских щеголих возможностями во время войны: не только с деньгами и продуктами питания стало туго, исчезли и материалы для одежды.



Постигла девушка и секреты кулинарии. Бабушка прекрасно готовила и пекла. Увы, время, в которое я могла оценить бабушкино мастерство, не позволяло ей блеснуть своим талантом. Были это годы Второй мировой войны, послевоенная бескормица.

Постигая науку ведения домашнего хозяйства, Дуня находила время и для чтения. Читала много. В доме была хорошая библиотека. Литературу потом знала прекрасно и меня пристрастила к чтению. В раннем моём детстве читала мне сказки Пушкина, так что в четыре года я уже знала «Сказку о мёртвой царевне и семи богатырях» наизусть, читала мне стихи Кольцова и Некрасова, которые я невзлюбила за ритм, казавшийся мне заунывным, читала «Вечера на хуторе близ Диканьки». Мы после обеда укладывались на узкую бабушкину кровать, стоявшую в столовой за ширмой, и бабушка раскрывала очередную книгу русской классики. Она хотела, читая, усыпить меня, но привила лишь привычку к чтению перед сном. Когда я подросла, она с удовольствием перечитывала произведения, которые я обязана была знать по школьной программе, и высказывала своё мнение о произведениях и их героях. Оно отличалось от мнения критиков и не смевших им возразить учителей литературы. Так, она симпатизировала Каренину и не одобряла красавца Вронского, не говоря уже об Анне, – ту считала эгоисткой.

Она рекомендовала мне прочитать не входивших в школьную программу, более того, запрещённых Достоевского, Арцыбашева, Кнута Гамсуна.

Своею начитанностью она превосходила юных дворянок, собиравшихся у Малуколов, но порой молодые люди, их потенциальные женихи, не подозревали этого, а один однажды обидел её так, что она пронесла эту обиду через всю жизнь. Молодёжь пела в зале модный романс на слова Пушкина:

Ночной зефир

Струит эфир.

Шумит,

Бежит

Гвадалквивир.

И вдруг некто спросил насмешливо: «А вы, Дунечка, знаете ли, что это Гвадалквивир?» Она знала, она ответила и обиделась, что именно ей задал вопрос насмешник. Потом двоюродные сёстры-дворянки признались, что они-то как раз не знали этого. «А ведь из пушкинских стихов было ясно, что это река в Испании», – говорила мне бабушка.

В шестнадцать лет она влюбилась, познакомившись где-то в гостях с молодым человеком, учившимся в военном фельдшерском училище. Звали его Василий, Вася. Кажется, знакомство молодых людей состоялось в доме начальника станции то ли Мены, то ли Бахмача, Герасименко. Он

был начальником станции сначала в Мене, потом в Бахмаче. Анна Акимовна познакомилась с его женой в Мене на базаре, когда продавала своё необыкновенно вкусное масло. Знакомство переросло в дружбу. Анна Акимовна не боялась отпускать Дуню к Герасименко погостить несколько дней. В их семье была дочь, кажется, единственная, Дунина ровесница.

Вот с этой-то своей подругой в вагоне начальника станции и ездила моя будущая бабушка в Либаву. И гуляла по пляжу в суконной жакетке смешной, и синими розы казались ей даже под синей балтийской звездой. Как реликвию через все невзгоды пронесла она потом шкатулку, инкрустированную мелкими балтийскими ракушками.

Может быть, и Васю в Либаве встретила, но смутно помнится мне только их свидание в каком-то парке, где вершины сосен уходили в поднебесье, и где молодые люди строили планы на общую будущую жизнь. Она сказала Васе: «Да!» Он вскоре окончил училище и приехал просить её руки. Брат Дуни, фельдшер, ответил ему: «Нет!»

Отказ объяснил своим домашним так: Дуня – девица нежная, болезненная, тяготы полковой жизни не по ней; кроме того, полковые дамы безнравственны, распущенны; им ничего не стоит сбить с пути молоденькую провинциалку; офицеры – развратники, картёжники и моты, а с волками жить, по-волчьи и выть. Родителей доводы сына убедили. Дуню не напугали, и она со слезами умоляла позволить ей выйти за Васю. Родители дуэтом отвечали: «Как Яша решит». Они не могли отказать ей выйти замуж по любви, помня о своём мятежном венчании ночью, в чужом селе, но не желали, чтобы их единственная дочь мыкалась со своим военным мужем по всей необъятной стране, далеко оторвалась от родительского дома. «Как Яша решит», – переложили они ответственность за судьбу сестры на двадцатилетнего Якова. Он был непреклонен. «Яша был причиной моего первого большого горя», – вспоминала бабушка. Она любила Васю всю жизнь, может быть, потому и любила, что не стала его женой.

После первого сватовства Дуня заболела. Она никогда потом не связывала эти события, хотя в романах того времени или написанных несколько ранее болезнь героини как раз является следствием какой-то большой любви. Болезнь была серьёзной настолько, что из Сосницы приезжали уездные медицинские светила. Чем они поднимали на ноги девушку, не помню, не слушала, теперь жалею, что не слушала: ведь подняли без пенициллина, без иных сильнодействующих средств, что применяются теперь. А вот, как восстанавливали потом её силы, не забыла. По рекомендации медиков, Дуня должна была усиленно питаться, пить портвейн и главное, почему я помню рассказ о болезни, ежедневно в течение месяца съедать десяток (!) свежайших яиц. Их моя бедная бабушка не могла видеть уже дня через три, но мать зорко следила за тем, чтобы рекомендация выполнялась. Выходили Дунечку...

Как-то она, Крошечка-Харошечка (рост всего полтора метра) стояла у ворот своего дома, а мимо по дороге проезжал на тройке заезжий добрый молодец, настоящий красавец к тому же.

Взглянула на него крошечка синими, синими очами из-под изломанных бровей – и на следующий день добрый молодец уже беседовал с её отцом в гостиной. Был он сыном сосницкого купца. Имел и сам небольшую лавку: торговал ситцем. Дела у него шли хорошо, так что ему не нужно было приданое. Готов был взять Крошечку-Хаврошечку в одном платье, завернуть в свою дорогую шубу и умчаться с ней в Сосницу на тройке, что поджидала у дома. И опять Яша сказал: «Нет!» И объяснил очередной отказ исключительно заботой о сестре, такой юной и хрупкой: в лавке-де вечные сквозняки, а она только-только оправилась после болезни, заставит, чего доброго, красавец за прилавком стоять – и всё, конец нашей Дунечке. Отказано было и машинисту, водившему пассажирские поезда, случайно увидевшему Дуню то ли в Мене, то ли в Бахмаче. Навёл о ней справки, узнал, где она живёт, и заявился сначала познакомиться, а через некоторое время и свататься.

В конце XIX века железнодорожное строительство набирало силу. Железнодорожники стали очень популярны в обществе, сделались завидными женихами в среднем сословии. Машинисты пользовались у девушек (не дворянок) таким же успехом, как через полвека лётчики. Но в данном конкретном случае тоже возникли весомые причины для отказа. Они претенденту на руку Дуни, конечно, не были названы. «У машинистов на каждой станции – жена», – сказал Яша на семейном совете, а Дуня подумала, что машинисты никогда не бывали гостями в доме Герасименко, машинист – это, в общем-то, извозчик...

Так и просидела Дуня в отчем доме в девках до двадцати двух лет и снискала славу разборчивой невесты, и «злые языки» за её спиной пророчили, что и кончит она так, как героиня картины Павла Федотова, «и уж горда была, что вышла за калеку».

Но тут появился Никита Красногорский. О нём Дуня уже слышала и не только в связи с неудачным его визитом к Вере. Он был известен в округе как весьма требовательный жених, и это при том, что гроша за душой не имел и перспективы на будущее были у него самые скромные. Но девушкам он нравился: высокий, под два метра, стройный, обходительный, прекрасный собеседник. Кое-кто из них находил его красивым. И все сожалели, что он беден и не получил хорошего образования, окончил лишь духовное училище, служит учителем в церковно-приходской школе. Видимо, потому и жениться не спешил, решили, что не хотел «нищету разводить», теперь же спешит заключить брак, потому что открывается вакансия дьякона в Веркиевке.

Все эти разговоры, конечно, возбудили у Дуни любопытство, желание увидеть этого молодого человека, проверить на нём свои чары. В один прекрасный день он появился у них в доме и не произвёл на неё ожидаемого впечатления, зато очаровал всех домочадцев. Он настолько пришёлся по душе хозяевам и Яше, который всегда оказывался в нужный момент в родительском доме, хотя служил в другом селе, что решено было гостя напоить, руководствуясь пословицей: «что у трезвого на уме, то у пьяного на языке». И тут оказалось... что гость не пьёт. «Это очень плохой признак,

– засомневался мой весёлый прадед Семён, – надо подождать, присмотреться, собрать о Никите Ксенофоновиче сведения. Как ты думаешь, Яша?» На сей раз Яша думал иначе, впрочем, он и прежде думал иначе. Он заявил, что Никита ему понравился: умный, положительный, серьёзный, что Дуне при её здоровье выходить замуж следует за человека духовного звания, то есть того, кто получит это звание, женившись, поскольку лица духовные женятся только раз, а значит, опасаются остаться вдовцами и берегут своих жён. Ах, этот довод убедил и Дуню.

В конце лета или в начале осени 1899 года молодые люди венчались. В свадьбе участвовали многочисленные родственники жениха. Он был четвёртым сыном в многодетной семье псаломщика Ильинской церкви села Каменский хутор Ксенофонта Никитича Красногорского и его жены Феодосии Георгиевны.

Мои прадед и прабабка Красногорские, как и Каминские, женились по любви и тоже нарушили семейную традицию. Прадед Ксенофонт происходил из старинного рода священнослужителей. Моя троюродная сестра Людмила Гончарова, занимаясь родом Красногорских, к которому принадлежала её бабушка по отцу Елизавета Ксенофоновна (в замужестве Подберезская), нашла в Государственном архиве Черниговской области «Дело по прошению священника Ильинской церкви села Каменский хутор Леонтия Красногорского о разрешении поставить церковь на каменный фундамент». Прошение написано в 1803 году. Этот священник – прадед Ксенофонта Никитича. Отец Ксенофонта, Никита Петрович, тоже был церковнослужителем. А те по традиции брали в жёны девушек из семей духовенства. В этом отношении мой дед Никита традицию сохранил: Семён Каминский был псаломщиком. А вот прабабка Феодосия происходила из крестьянской семьи. Хотя её отчество Георгиевна заставляет меня в этом сомневаться. Молодые люди поженились, когда им было по 18 лет, оба родились в 1845 году, и вырастили десять детей. Я знала от бабушки их имена, а Людмила установила и годы рождения. Перечислю их: Михаил (1864), Феодосий (1867), Дмитрий (1869), Никита (1871), Иоанн (1873), Елизавета (1876), Николай (1878), Евфросиния (1880), Анна (1885), Марианна (1893).

Мне запомнился такой эпизод, связанный с рождением Марианны (в семье её звали Маней). Приехал Никита в отчий дом. А в нём нет никого. Принялся звать маменьку. Та отозвалась с печи. Но слезть, чтобы приветствовать гостя, не спешила. А на его вопрос, что с ней, здорова ли, ответила: «Ой, сыночек, здорова, да стыдно мне. Сестричку тебе родила на старости лет». Никита, обрадовался и снял с печи и мать, и сестричку. Было моей прабабке тогда, оказывается, 48 лет – по документам, а в бабушкиной передаче – за пятьдесят.

Когда Никита женился, братья его, за исключением самого младшего Николая, уже служили, получив разное образование. Михаил и Иван окончили народное училище и стали псаломщиками. Дмитрий в 1892 году закончил Черниговскую духовную семинарию и был, как установила Люд-

мила, «рукоположен Преосвященным Вениамином, епископом Черниговским и Нежинским, в сан священника. Обладая незаурядными музыкальными способностями, он, по свидетельству священника А. Вакуловского, мастерски организовал хор приходской церкви села Кирилловки, после чего, видимо, был взят в регенты Архиерейского хора». То есть оказался в Чернигове и там проявил себя и как литератор, написав очерк, изданный в 1898 году в Чернигове брошюрой «Приезд в Чернигов и пребывание в нём пастыря Отца Иоанна Кронштадского».

Узнав о моих литературных начинаниях, мой отец сказал: «Это у тебя наследственное. В нашем роду был духовный писатель», – имея в виду, наверное, своего дядюшку Дмитрия. Однако ничего, кроме этой брошюры, мы с Людмилой в литературном наследии нашего общего двоюродного деда не обнаружили.

Николай – самый младший из братьев – заканчивал Черниговскую духовную семинарию. В 1901 году он был рукоположен Преосвященным Антонием, епископом Черниговским и Нежинским, в сан священника. Все братья Красногорские, кроме рано умершего Михаила, стали священниками. Сёстры, кроме Елизаветы, сделали учительницами, закончив епархиальные училища. Елизавета, единственная из десяти детей не получила систематического образования за стенами дома. Как старшая дочь она вынуждена была помогать матери: за нею ведь было ещё четверо детей. Должного образования не получил и мой дед Никита: окончил Стародубское духовное училище, а мечтал об университете и на худой конец о духовной семинарии. Бабушка объясняла: не сбылась его мечта потому, что ему пришлось помогать учиться Николаю и сёстрам; говорила, что и женился он так поздно потому же. Окончившие семинарию Дмитрий и Николай оказались на своём поприще успешнее Никиты. И в успехах Николая бабушка склонна была видеть заслуги своего мужа. Но самообразованием дед занимался всю жизнь и пополнял привезённую бабушкой библиотеку. Я ещё видела несколько книг из неё.

Не помню, присутствовали ли братья Красногорские на свадьбе моих бабушки и деда. Из всех родственников, бывших там, мне запомнились, по бабушкиным воспоминаниям, только Маня, Анюта и младший брат бабушки Иван. Может быть, потому, что между Анютой и Иваном завязались на свадьбе романтические отношения.

«Бабушка, ну как ты могла выйти замуж без любви?» – не один раз спрашивала я, и бабушка неизменно отвечала: «Он был мне не противен. А любви нет. Есть только скотская потребность». На своё замужество она смотрела как на единственно возможную для неё службу и говорила мне грустно: «Ах, если бы я окончила прогимназию, могла бы я быть сиделицей в книжной лавке, могла бы не зависеть от мужа. Учись, деточка. Женщине необходимо образование».

Интимная сторона супружества радости ей не приносила. Началось это с первой недели так называемого медового месяца. Многоопытный молодой супруг (ему было двадцать девять лет, и

он имел, естественно, прежде связи с женщинами) тем не менее не знал некоторых тонкостей женского организма и, когда не обнаружил материальных доказательств невинности своей супруги, страшно оскорбился, что его не предупредили, посчитал себя обманутым. Как человек передовых взглядов он бы понял её, простил, но ему никто даже не намекнул на это. И он замолчал... на месяц. Молодая женщина была обижена таким чудовищным подозрением на всю жизнь. А через семь месяцев подозрение у мужа превратилось в уверенность: она родила недоношенную девочку – после того, как упала в подпол в кухне. Но супруги продолжали жить – каждый со своей обидой. Девочка росла и становилась очень похожей на отца и тёток, что все отмечали. К тому времени у Никиты обида прошла, чтение специальной медицинской литературы развеяли подозрение; он признался Якову в том, что был не прав. Перед женой он никогда не винулся и периодически замолкал на продолжительное время, бывало, на месяц.

Конечно, все эти обиды и подозрения не способствовали любви, но супруги её и не ждали: в брак-то оба вступили по расчёту. Но они так прекрасно выглядят на первой супружеской фотографии. У деда на рясе медаль. Он участвовал в первой всероссийской переписи и получил награду за успешную работу. Я видела её перед Великой Отечественной войной. У бабушки был заветный сундук, где хранились уцелевшие в период революционных бурь красивые и ненужные для будничной жизни вещи. Были там кое-какие украшения (кольца, браслеты, бусы); лежали украинский и мордовский костюмы – наряды, надеваемые даже не на праздники или какие-то торжества, а для того, чтобы сфотографироваться на память, какие-то расшитые скатерти, покрывала и ярко-зелёный, как майский луг, ковёр, великолепные юбки, снабжённые щётками по подолу. Бабушка время от времени открывала сундук, перетряхивала вещи, просушивала их и говорила мне: «Это твоё приданое, Нирочка». Она обычно соединяла уменьшительные имена своей дочери Нина и моё Ира в одно ласкательное – Нирочка.

Надо сказать, что из всего этого приданого мой интерес вызывал только браслет в виде змейки с зелёными глазами. Медали она мне не показывала, я сама её обнаружила, полюбопытствовав, и приняла её за некрасивую брошку.

Бабушка неохотно и опасливо объяснила, что это награда покойного моего деда.

Как теперь я понимаю, она служебные успехи деда не афишировала и то, что он был священнослужителем, скрывала, в разговорах со знакомыми всегда называла его сельским учителем. Я тоже долго заблуждалась на его счёт.

А большинство этих старинных вещей во время войны украли, что-то из них бабушке удалось променять на продукты, из одной великолепной юбки сшили мне шикарное платье уже в десятом классе, и я красуюсь в нём на фотографии даже студенческих лет.

Итак, у деда медаль, у бабушки красота и абсолютно светский наряд на снимке 1900 года. И на других фотографиях более позднего времени она предстаёт красивой, модно одетой женщиной,

подчеркну: без всяких там платочков и косынок, которыми уродуют себя воцерковленные особы – девушки и дамы – в наши дни. По словам бабушки, покрывать голову должны были в церкви только женщины, на девушек это правило не распространялось.

Свою семейную жизнь молодые начали в селе (местечке) Веркиевка Нежинского уезда Черниговской губернии, где дед стал служить дьяконом.

Людмила доискалаь до того, что узнала: церковь там была сравнительно новой, 1887 года постройки, двухпрестольной, «на содержание диакона отпускалось 36 рублей в год».

Это в то время, как провинциальный актёр получал 50 рублей в месяц, сельский учитель 40 рублей, учитель гимназии более 100 рублей, а в Рязанской гимназии в 1901 году платить за ученика в год нужно было 60 рублей. Однако эти 36 рублей были только постоянной основой, всё же остальное содержание церковнослужители получали сами какими-то деньгами и натурой.

Так, бабушка рассказывала, что жена дьякона не должна была дистанцироваться от службы мужа и обязана была, например, ходить на Пасху с подводой по селу в расчёте на то, что прихожане будут класть на неё дары. Бабушка воспротивилась этому – не пошла. Не стала унижаться, чем, конечно, вызвала пересуды, но и уважение. Какой-то сельский богачей сам первый что-то принёс, желая лишний раз полюбоваться гордой женой дьякона. За ним потянулись остальные. Это большое количество дарёных продуктов (варёных яиц, окороков) требовало особых способов хранения и переработки – наука, которую пришлось бабушке осваивать. В качестве даров копились полотенца, которыми одаривался дьякон по традиции, священнику полагались скатерти. Став попадёр, правда, лет через десять, бабушка устранила это деление подношений по сану. Всё складывалось в общий сундук, потом продавалось на ярмарках, и делились деньги.

Большим подспорьем было собственное усадебное хозяйство: скотина, огород, сад. Садоводством занимался дед, бабушка смотрела за животными. Доила корову и следила за тем, как ухаживает прислуга за скотиной. При скудном собственном обеспечении деньгами прислуга в доме была. Помню, что получала она три рубля в месяц при хозяйском питании и одежде. Наверное, это зарплата более позднего времени, но служанка была постоянно (называла её бабушка «девкой») и жила в доме. Но всё-таки бабушке приходилось вставать в четыре утра, чтобы подоить корову и присмотреть, как будет готовиться корм свиньям. Девке доить корову она не доверяла: та могла не помыть вымя, нарушить ещё какие-то требования гигиены. Вымя следовало мыть тёплой водой с мылом и вытирать чистым, специальным рушником.

Корову в стадо тоже выгоняла бабушка. Она помнила всех своих коров, но больше других рассказывала о Белке – безрогой корове симментальской породы, дающей небывало жирное молоко. Коров этой редкой в России породы я увидела лишь в 2007 году в хозяйстве рязанского села Ерлино. Они попали туда благодаря тому, что намечалось празднование 170-летия со дня рожде-

ния С.Н. Худекова, бывшего замечательного владельца Ерлинской судьбы, который в 90-е годы XIX века и позже разводил у себя симментальский молодняк, чтобы распространить его по округе.

Я не запомнила всех служебных премудростей и хронологии перемещений деда из прихода в приход, да и утаивались они. Людмила написала в своей рукописи, что в церковной ведомости Веркиевки за 1903 год о дедке Никите сказано: «знания чтения, пения, катехизиса – очень хорошего. Поведения очень хорошего. С 1902 года законоучитель оной церкви. Грамоту и указ имеет. В семействе – жена Евдокия Семёновна, род. 1877, 1 марта. Дочь Антонина род. 1900, 10 июля». Она же указала дату перемещения деда «на штатное диаконовское место при Успенской церкви села Фастовцы Борзнесенского уезда» – 1906 год.

Сравнительно долгое время будучи женой дьякона, бабушка находилась в зависимом положении от священников, а потому воспринимала тех без приязни, рассказывая моей маме о них, называла их «широкорукавыми» (видимо, такое название бытовало в церковной среде) и вспоминала их прегрешения вроде пьянства и стяжательства. Попадья в её рассказах не фигурировала, может быть, потому, что священники были вдовцами. Фастовцы в её рассказах упоминались часто, и мне казалось, что это самое любимое место в её взрослой жизни. Наверное, так и было, поскольку там родился у неё сын, мой отец, а рождение сыновей бабушка считала особым женским достижением. Случилось это 3 июня 1907 года. Больше детей у неё не было.

В отличие от своего отца и братьев Михаила, имевшего пятерых детей, и Федота – четырёх, Дмитрий, Никита, Иоанн и Николай ограничились двумя детьми, причём у каждого они были разнополыми. У Дмитрия – Кирилл и Мария, у Никиты – Антонина и Константин, у Иоанна – Виктор и Елена, у Николая – Феодосий и Таисия. Жёны братьев к абортам не прибегали, не знаю, как остальные, но бабушка соответствующие меры предохранения принимала и регулярно посещала врача, для чего ездила в уездный город.

Её старшие золовки были женщинами менее просвещёнными.

Елизавета вырастила шестерых сыновей в браке с Николаем Игнатьевичем Подберезским. Бывший резчик по дереву и позолотчик, тот стал псаломщиком в Параскевиевской церкви села Шумиловка Новозыбского уезда. Человек очень религиозный, он опасался идти против природы, и бедная Елизавета рожала чуть ли не ежегодно. Прибавление в семье лишних ртов сказывалось на семейном благосостоянии не лучшим образом. Подберезские пребывали в постоянной нужде. Отчаявшись, Лиза обратилась за консультацией к брату Никите. Консультацию в итоге давал не он, а невестка Евдокия, с которой у Елизаветы не было тёплых отношений. Бабушка больше симпатизировала Николаю, тому религиозность не мешала быть человеком компанейским, весёлым, певуном. Елизавета же имела характер суровый. И то, что не было у неё дружбы с невесткой, думаю, объясняется не разными характерами женщин, а разным их семейным положением и укла-



дом. У Евдокии – долгое время всего одна дочь, помощь братьев, свободное время для чтения, для поездок в гости. У Елизаветы – тяжёлый домашний быт и куда меньшая образованность, хотя обе вроде бы и закончили одинаковые сельские школы. Школы школами, но важна ещё и среда. Ма-луколов в детстве Елизаветы не было, не было романсов под фортепиано, не было обеденных столов, украшенных фарфоровыми тарелками, соусниками и приборами для специй. На столе её родителей стояла общая большая миска, из которой все ели, соблюдая очерёдность, определённый порядок. Когда же кто-нибудь из детей его нарушал, отец (мой прадед Ксенофонт) пускал в ход свою длинную ложку. Прямо картинка из горьковского «Детства». Но это я передаю со слов не бабушки, а своего отца. Её рассказы о «стариках» Красногорских мне не запомнились.

Как бы то ни было, эти две родственные семьи Красногорские и Подберезские (наши с Людмилой деда-бабы) дружили, и дружеские отношения потом связывали моего отца с двоюродным братом Николаем, его ровесником.

Бабушка считала Николая Игнатьевича белорусом за его произношение в словах вместо звука «я» звук «а» – рабчик, трапка – и любовь к белорусским песням. Любовь к пению их и сближала. Бабушка тоже была певуньей.

Через три примерно четверти века жена внука Николая Игнатьевича, Нина Подберезская, случайно выяснила, что он был отпрыском оскудевшего польского графского рода. Это, конечно, самому отпрыску, скромному мещанину, и в голову не приходило. Он мечтал дорасти в своей служебной карьере до дьякона, в чём ему помогал мой дед. А Николай Игнатьевич, видимо, передавал ему свои навыки резчика и позолотчика. В раннем детстве я видела оставшиеся от деда тончайшие листочки сусального золота.

Дед убедил Подберезских в том, что всё-таки должно регулировать численный состав семьи, нет большого греха, если это делается определённым образом. Но, как полагала бабушка, следовать рекомендациям они стали поздно и «потому бедная Лиза умерла от рака». Правда, «бедной Лизе» было в ту пору 60 лет, а лет за десять перед тем не стало Николая Игнатьевича, дослужившегося всё-таки до дьякона.

Судьба второй золовки, любимой бабушкиной золовки Прони, как она её называла, куда трагичнее. Женщина – профессия особо опасная, что до сих пор почему-то ни мужчинами, ни женщинами, точнее человечеством, не осознаётся. Проня, на самом деле её звали Евфросиния, учительствовала где-то поблизости от брата, возможно, и в том же селе. Бабушку она привлекала своей образованностью (окончила в 1899 году Черниговское епархиальное училище), самостоятельностью. Я помню о ней то, что она получала сорок рублей в месяц, и на эти деньги жилось ей трудно без собственного хозяйства. Как пример её нелёгкой в материальном отношении жизни бабушка приводила тот факт, что та никогда не приобретала себе платьев, а довольствовалась юбка-

ми и кофточками, которые можно варьировать, создавая новый костюм. И всё-таки бабушка ей завидовала. С замужеством у Прони дело не ладилось, но в этом-то бабушка не видела большой беды: Проня имела образование, худо ли, бедно ли, но могла себя прокормить. И тут вдруг та влюбилась... в человека женатого, да ещё и еврея. «На неё нашло затмение», как полагала бабушка: этот земский врач её не стоил. Любовь имела последствия. Делать аборт Проня не решилась. А рождение ребёнка чревато было для неё грандиозным скандалом, увольнением со службы. И начальство бы не остановило то, что она хорошая учительница.

Людмила нашла в «Черниговских епархиальных известиях» за 1902 год, что Евфросиния Ксенофоновна Красногорская в 1900–1901 учебном году была отнесена «к числу учителей и учительниц, с особенным успехом потрудившихся на пользу церковных школ».

Рождение внебрачного ребёнка (да ещё от иудея!) бросило бы тень на его особенно успешных дядьёв Дмитрия и Николая. Проня предпочла покончить жизнь самоубийством. Бабушка этой смерти не могла себе простить, винила и братьев, возненавидела врача и всю его нацию. Но эта ненависть не помешала ей во время погрома прятать у себя еврейское семейство и высокомерно объясняться с черносотенцами.

А страшному примеру тётки последовала дочь одного из братьев Красногорских (не помню кого) и тоже из-за любви. Но воспользовалась не какими-то порошками, как тётка, а серпом, в поле...

Первые революционные бури пережили мои дед и бабушка в Фастовцах, но там не задержались. Наконец-то в 1909 году дед получил место священника в селе Ущерпье Суражского уезда.

Здесь он с семейством прожил пять лет. К тому времени в семью, кажется, уже входила Анна Акимовна, мой прадед Семён умер, не было уже давно и Рудого пана с женой. А в час смерти Семёна Каминского, точнее, в её мгновение, у бабушки над обеденным столом вдруг вдребезги разбился плафон лампы. И позднее какими-то знаками отмечались кончины её родственников, находившихся вдалеке от неё.

Произошли и ещё семейные перемены. Поступила в Черниговскую гимназию Антонина (Нина). Оторвалась от дома девочка, стала жить у чужих людей, постигать науки, учиться игре на фортепьяно. Мой отец говорил, что была она хорошей музыкантшей, и в отчем доме её приездов на каникулы дожидалось пианино. Бабушка принялась осуществлять свою мечту – дать дочери хорошее образование: не в епархиальном училище, не в прогимназии, о чём когда-то грезила для себя, а в гимназии, потом в институте. Учёба детей стала целью её жизни, она принялась копить на это деньги. Сделалась скуповатой. Будущее детей с деревенскими церквями она не желала связывать.

А между тем всё явственнее вторгались в мирную жизнь грозные перемены. В 1911 году был убит в Киеве Столыпин, с которым многие связывали социальные улучшения. В том же году средства массовой информации предрекали столкновение с кометой, и в результате этого гибель всего живого. Приехавшая на каникулы Ниночка не могла спать и всё выходила ночью на двор посмотреть на комету. Потом как-то страсти улеглись.

Дед сажал лес, боролся с пьянством, тщетно разводил тутовых шелкопрядов. Они прожорливо грызли листья и громко ими шуршали в углу пустующего зала. Вообще, дед поддерживал всяческие кампании. А их в то время было немало.

К одной из них можно отнести и так называемые Палестинские чтения – цикл лекций о Святой земле. Инициировал их, как и противоалкогольную кампанию великий князь Сергей Александрович. Он в 1882 году возглавил Императорское Православное Палестинское Общество, которое издавало и пропагандировало литературу о Святой земле, устраивало паломничества в Палестину. Чтению лекций в Черниговской епархии придавалось большое значение, и мои двоюродные деды то и дело упоминаются в «Черниговских епархиальных известиях» как активные пропагандисты. Нашла Людмила и запись, касающуюся моего родного деда Никиты. В Фастовцах в 1906–1907 годах он вместе со священником Симеоном Богдановским провёл пять Палестинских чтений, собравших 1000 слушателей. А годы-то были беспокойные.

Пошла мода сажать леса, закладывать общественные сады, Никита Ксенофонович оказался в числе энтузиастов. Переписывался с Мичуриным. Как-то мой отец упомянул, что вроде бы дед покупал какие-то саженцы у миллионера Худекова. В класс, где я училась, поступил мальчишка с такой фамилией, и, узнав об этом, отец задумчиво произнёс: «Уж ни потомок ли он того миллионера Худекова, у которого мой батька покупал саженцы?» Развития тогда эта тема не получила. Теперь, когда на моём счету две книги об этом миллионере и несколько статей, я не могу решить, как же это было – рязанское имение Худекова в Ерлине и черниговское Ущерпье. Но дед имел авантюрный характер, а Худеков рекламировал свои саженцы в сельскохозяйственных журналах и, наверное, обеспечивал доставку.

Должно быть, индивидуальное шелкопрядение тоже являлось одной из общественных кампаний. В России собственный шёлк появился при Петре I, но в начале XX века 80 процентов шёлка-сырца всё ещё ввозилось из-за границы, что не способствовало снижению стоимости этой прекрасной ткани. Энтузиасты вроде моего деда предпринимали попытки положение изменить. Кампания эта пришлась на то время, когда у деда на подворье был дармовой корм для гусениц. На фотографии 14-го года он с семейством запечатлён под могучими шелковицами, тутовыми деревьями. Тогда и место для эксперимента у него появилось. В их доме оказалось шесть комнат: уже упоминавшийся зал, гостиная, столовая, три спальни. Отапливать зимой такое большое помещение было сложно, и в зале температура держалась около шести градусов, но цветы там, по словам бабушки, прекрасно

себя чувствовали, в отличие от гусениц шелкопряда, как я думаю. Ничего путного из этого начинания деда не вышло. И узнала я о нём только потому, что однажды в бабушкиной коробке для рукоделия среди разномастных и разнокалиберных пуговиц, катушек, напёрстков и окостеневших мелков обнаружила нечто лёгкое, овальное, светло-бежевое или грязно-жёлтое – кокон.

Но в авантюру с шелкопрядением дед пустился, скорее всего, уже в Воловице Сосницкого уезда, куда был перемещён 28 февраля 1914 года. Людмила пишет, что его определили законоучителем Воловицкого народного училища и в том же году «за ревностное прохождение пастырской службы» наградили набедренником.

Там в Воловице, в Михайловской церкви, дед прослужил десять лет, стал известен как хороший проповедник, слушать которого собирались верующие со всей округи. А он тяготел к светской жизни – к лесам, садам, космической науке – переписывался с Циолковским. Любил ходить в гости, где слыл прекрасным собеседником, дамским угодником. Расточал дамам комплименты и целовал ручки, вызывая ревность у бабушки. Она не оставалась в долгу и тоже заставляла его помучиться, кружась с каким-нибудь поклонником в вальсе. Дед, естественно, не танцевал. Не говорила бабушка и о том, что он пел или музицировал в гостях, хотя, по данным Людмилы, он обучал прихожан церковному пению, окончил в 1897 году курсы пения в Чернигове.

Сдаётся мне, что должны были очень скучать в своих сёлах мой дед и бабушка, так как не имели они там возможности отвлечься от своего быта, от необходимости держать «марку», то есть соответствовать традиционным образам «батюшки» и «матушки». Задорная бабушка в украинском костюме у бутафорского плетня. Ну какая это матушка? Дед перед женитьбой в пиджаке и с «бабочкой». Не в ту они среду попали, не в ту!

Бабушка иногда из неё вырывалась и ездила в гости к своей подруге, той, с которой когда-то побывала в Либаве. Она была замужем тоже, но не за духовным лицом. Кажется, фамилия её мужа была Яковенко. На одной фотографии, где бабушка у плетня надпись: «Лисковица. Ильинская улица собственный дом Степана Фёдоровича Яковенко».

Прочитала эту надпись недавно и задумалась, что это такое за место «Лисковица», а через несколько дней случайно, читая в подвернувшемся журнале рассказ, узнала: это район Чернигова.

Я забыла, как звали бабушкину подругу (уж не Дуней ли тоже?), запомнилось только, что она невольно стала причиной смерти своей маленькой дочери. Возвратилась после недельного отсутствия откуда-то из гостей и поцеловала девочку, не удержалась, хотя и чувствовала недомогание. Оказалось, заболела дифтеритом. Сама выздоровела, а девочка нет.

Ездила бабушка гостить в Разрытовский женский монастырь, одним из основателей которого был старший брат мужа, Димитрий и служил в нём священником. Какое-то время там священником был и младший – Николай, с которым бабушку связывала дружба. Он короткое время служил псаломщиком в Веркиевке, где начиналось её супружество. Бабушка говорила, что в отличие от сво-

его брата Никиты, это был очень мягкий, очень деликатный человек, чрезвычайно преданный своим церковным делам. Не помню, говорила ли она что-нибудь о его жене. К паре Дмитрий и Екатерина бабушка, как мне кажется, относилась холодно. Знаю, что Екатерина вышла из купеческой среды. Посещая Разрытовский монастырь, бабушка там и останавливалась и даже дружила с кем-то из его насельниц, возможно, с игуменьей. Как напоминание о монахинях-искусницах долгое время в нашей семье жили стёганное одеяло, где вместо ваты была шерсть, и диванная подушка, на бордовом бархате которой с помощью тамбурной иглы шерстью были вышиты подсолнухи.

Общалась бабушка и со своими двоюродными сёстрами. Маленькие помещицы, они вели такую же провинциальную жизнь, не покидая своих усадеб на зиму, в отличие от богатых помещиц.

С одной такой богачкой, Софьей Ивановной, чьё поместье было то ли в Воловице, то ли в Ущерпье, бабушка водила знакомство, бывала у неё в гостях и рассказывала о ней с восхищением. А мне неловко было это слушать: чувствовалось в бабушкиных рассказах подобострастие, уничижение. Причём они вызывались не какими-то личными качествами Софьи Ивановны, а её богатством и связанной с ним благотворительностью. И ещё мне казалось, что эта самая Софья Ивановна с превосходством и даже с презрением относилась не только к бабушке, но и к дедушке, хотя и исповедовалась у него.

Заблуждаются нынешние верующие, полагающие, что до революции священники пользовались особым уважением у всех сословий. Мемуары бывших высокопоставленных лиц этого не подтверждают. Да и помню, как высокомерно вела себя по отношению к бабушке вдова царского генерала то ли погибшего во время Первой мировой войны, то ли умершего до революции. Обе оказались в эвакуации в одном бараке. Бабушка была матерью успешного начальника цеха, а потом главного инженера завода. Соседка – матерью очень скромной канцелярской служащей, но продолжала себя чувствовать генеральшей и смотрела на бывшую попадьё свысока. Проведшая большую часть жизни в Черниговской губернии, бабушка не избежала украинизмов, и генеральша всякий раз её насмешливо поправляла. При этом очень обижалась не бабушка, а я. Помню, как-то бабушка попросила занять у генеральши три рубля, «троЯчку», как она говорила, делая ударение на «я». Я передала бабушкину просьбу дословно, с этой самой троЯчкой. «Не троячку, а троечку», – насмешливо поправила генеральша, и я чуть не сгорела от стыда и обиды за бабушку, но и вынесла урок: невозможно поправить человека, чтобы не вызвать у него обиды. Но с «троЯчкой» генеральша была всё-таки не права, бытовал ведь потом в разговорной речи «трояк».

Воловица – её я никак не могу сейчас найти на карте Украины – место детства и отрочества моего отца, часто упоминавшееся им в той или иной связи. Там, по его словам, была прекрасная природа: сосновый лес, ласковая Десна, где он научился плавать, первые походы с дядей на охоту. Оттуда он отправился в Чернигов, в гимназию. Было это в 15-м или 16-м году. В Чернигове или даже

в Воловице его тоже начали обучать игре на фортепиано, наняв ему учительницу музыки, интеллигентную старушку, склонную, как и моя бабушка в старости, к воспоминаниям и смешившую своего ученика фразой: «Костенька, помните в 905 году?..».

Уже шла война, в действующей армии оказался красавец Иван Каминский. Но Красногорские в Воловице продолжали жить ещё по законам мирного времени. А беды уже поджидали их у порога. Пройдёт совсем немного времени, добавится Гражданская война, и Украина, Сосницкий уезд превратятся в громадную шахматную доску, а по ней начнут беспорядочно перемещаться белые, красные, зелёные – разные, но в основном бандиты, не боявшиеся ни бога, ни чёрта, врывавшиеся в дом священника с ещё большей охотой, нежели в хату обычного селянина.

Я спрашивала бабушку, кого она больше опасались. «Ах, Нирочка, всех! Но благороднее остальных были деникинцы».

Ещё до Гражданской войны умерла бабушка Анна Акимовна. Заболела тифом очень тяжело Евдокия Семёновна, и у её близких не оставалось надежды на то, что она выздоровеет. Выходил её местный фельдшер, молодой не женатый человек, поднял на ноги своей любовью. А до этого носил её на руках или брал на руки, когда перестилали постель. Дед с этой миссией не мог справиться: «у него были очень тяжёлые, жёсткие руки». Болезнь эта случилась в 17-ом году. Фельдшер отбыл на фронт и пропал из виду. И вдруг где-то в 57-ом году обнаружился – прислал бабушке письмо. Потом они переписывались, чуть ли не до её кончины.

Окончила в это десятилетие гимназию Нина и поступила в Киевский педагогический институт. Появился у неё там жених, но до свадьбы дело не дошло. Молодой офицер был убит то ли немцами, то ли красными. Нина вскоре умерла от тифа. Перенесла саму болезнь, но получила осложнение, почему-то моя какое-то крыльцо. Бабушка, так никогда и не свыкнувшись с её смертью, тем не менее говорила, что ранний уход из жизни избавил Нину от многих страданий, которые только тогда начинались. Случится это в 22-ом году. В 24-ом году умер бабушкин брат Ваня.

Жуткие потери...

Теперь вся жизнь бабушки сосредоточилась в сыне. Она и раньше любила его очень, теперь любовь стала безумной. В стране ужас, жуть, семнадцатилетний сын где-то вне дома пытается получить образование. Она бы помчалась за ним, полетела, но надо ему помогать, надо копейки собирать. А тут бандиты нагрянули, обобрали. Чтобы быть к сыну ближе, родители перебираются в Нежин. Этому способствуют и обстоятельства: обновленческая Автономная Украинская церковь захватила все приходы, дед оказался не у дел.

В Нежине мои Красногорские смогли купить дом, впервые обзавелись недвижимой собственностью. Дед принялся плести из верёвок модную обувь того жуткого времени – лапти, бабушка пустила каких-то квартирантов.

Мой отец какое-то время жил с ними, где-то работал и вечером учился, потом принялся передвигаться по довольно обширной округе, повышая своё образование, действуя, по Павлову, согласно «рефлексу цели». А цель была у него – стать инженером. Округа же включала Харьков, Кременчуг, Сумы и Шостку. В Шостке отец закончил механический факультет химико-технологического института.

Во время этих учебных перемещений жизнь сводила его с разными людьми, с преподавателями и студентами, о которых он иногда рассказывал. Из его рассказов сложился в моём представлении образ рабфаковца – наглого, невежественного и не очень молодого человека, которому революция предоставила большие права и не наделила обязанностями. Рефлекс цели у него тоже был – получить за определённое время, проведённое в институте, диплом и стать красным руководителем. Такой студент мог прийти к директору института, старому профессору, усесться на стол и, взяв в руки пресс-папье, начать излагать свои требования. Учиться по-настоящему он был не в состоянии, поскольку не имел необходимого подготовительного образования. Даже бывших реалистов и гимназистов революция выбросила из учебных заведений, кое-кто из них (и мой отец) доучивался потом в новых семилетках, ФЗУ, где собирались хорошие преподавательские силы, тоже водворившиеся туда под натиском революционных сквозняков.

Но были в институте и такие студенты, что действительно хотели получить знания. Из них мне запомнился только папин друг Владимир Соббатовский – сын юриста из Киева. Запомнился потому, что не только слышала о нём, но и видела его и маленькой девочкой, и подростком. Он после окончания института обосновался в Киеве, во время эвакуации очутился в Свердловске. Был очень одарённым инженером, не занимавшим, однако, высоких постов (работал, кажется, в институте сварки Патона), поскольку был болен каким-то психическим недугом, из-за которого время от времени попадал в больницу и в это время лишался жён. Первая его жена, бывшая киноактриса, часто упоминалась моими родителями. Я всегда с интересом разглядывала фотографию этой пары. Жалею, что её не оказалось среди тех, какие сохранились в отчем доме. Я видела эту актрису, будучи маленькой девочкой, не достигшей ещё полуторагодового возраста, но запомнила только вышитый подол её платья. Интересно, что актриса – звали её Оксана – оставила свою киношную карьеру, выучилась на биолога и стала кандидатом биологических наук.

Среди соучеников отца был и будущий свёкор моей единственной родной сестры Нины – Евгений Потиеенко. Знаком был отец и с будущей Нининой свекровью, Валентиной Филипповной, тогда Вале́й Решитько. Она была влюблена во Владимира Соббатовского, но его взаимностью не пользовалась. А мои дед и бабушка и родители Валентины – Решитько – имели в пору молодости общих знакомых и слышали от них друг о друге, но никогда не встречались, бывая у тех в гостях.

В пору юности не миновала моего отца и любовь. Был он очень красивым юношей, но, увы, слишком маленького роста, в Каминских. Людей маленького роста в то время было гораздо больше,

чем теперь, и маленький рост среди мужчин встречался, по моим наблюдениям, чаще, чем у женщин. Впрочем, может быть, маленькие женщины не так бросались в глаза. Отцовская любовь была высокого роста, красивая, сероглазая, с пепельными волосами. Звалась Ирина. Имя по тем временам редкое. К редкому имени добавлялись экстравагантность, прекрасное образование. Она была единственной профессорской дочкой. Отец увидел её сидящей на заборе. Кажется, этот забор отделял двор дома, где он жил, от двора и дома профессорских. Девушка сидела на заборе и вдобавок курила. Ну как тут было не влюбиться! Удивительно, что и она в него влюбилась с первого взгляда, маленький рост молодого человека не стал помехой чувству. И воспоминание об этом чувстве оба пронесли через всю жизнь. В честь этой девушки была названа я. Молодые люди не поженились потому, что у Ирины была эпилепсия, и врачи запретили ей иметь детей. Не зная, кто из них решил ограничиться дружбой, я всегда думала, что отец совершил предательство. Ирина переехала в Москву, мой отец бывал у неё, они переписывались. Мама этой дружбе не препятствовала.

Как-то уже в мои студенческие годы отец нанёс визит Ирине вместе со мной. Я чувствовала, что предаю маму, но всё-таки пошла из любопытства. Женщина, в честь которой я была названа, мне не понравилась. Мой приход, очевидно, её смутил, и она чрезмерно суежилась, вдобавок, подавая мне руку, назвалась только именем. Была она красива в свои за сорок и моложава, но не настолько, чтобы прыгать девочкой по квартире и сюсюкать, да ещё при её внушительной комплекции. Понравилась мне её мать, профессорша (профессора уже не было в живых). Таких дам теперь можно увидеть разве что на экране старых кинофильмов о дореволюционной жизни России: высокая, тонкая, элегантная, с седыми, прекрасно уложенными волосами, с красивой певучей речью. У Ирины тоже оказался красивый голос. Обе работали в какой-то престижной библиотеке, то ли Ленинке, то ли в политехнической. Обе пригласили бывать у них дома и навещать на работе. Но я, понимая, что продолжение знакомства принесёт мне пользу, их всё-таки не навестила. Ирина в возрасте под пятьдесят или даже позже вышла замуж, но продолжала писать моему отцу, в письмах называла своего немолодого мужа «Лютиком», что мне казалось какой-то неприятной манерностью.

А мой отец женился гораздо раньше её – в двадцать четыре года на очень хорошенькой практикантке Житомирского техникума Женечке Елениной. Было ей девятнадцать лет. Встретились они на керамическом заводе в селе Токаровка Барановского района Житомирской области. Молодой инженер исполнял там обязанности заместителя главного механика, инженера по технике безопасности и руководителя практики. Мама явилась в группе студенток техникума и сразу обратила на себя внимание молодого руководителя.

Девушки жили в заводском общежитии. Время было очень трудное. Оторванные от дома, они голодали, перебиваясь скудными столовскими обедами. И руководитель отрывал что-то от своего



более сытного обеда инженерно-технического работника, ИТР. Однажды он принёс им на ужин фаршированный перец, выглядевший очень аппетитно. Девушки набросились на кушанье без хлеба, а потом всю ночь не могли избавиться от бушевавшего в их желудках пожара – перец оказался жгучим, чего они сразу не почувствовали. Как-то неудачно угостил их руководитель и яблоками, огромными, красными, но пронзительно кислыми. Однако эти промахи не уменьшили симпатии к нему. Кроме заботы, девушкам сразу понравились его искрящиеся синие глаза, его интересные рассказы, учтивость, но все вскоре поняли, ради кого он старается. А юной житомирской красавице очень импонировало ухаживание инженера да ещё и настоящего интеллигента, не какого-нибудь рабфаковца. И она тоже не придавала значения его маленькому росту. В конце практики они поженились. Случилось это событие 2 сентября 1931 года. Расписываться они поехали в Барановку только вдвоём. Жених нанял мужика с лошадей и телегой, возом, как там говорили. Был прекрасный день. Дорога до Барановки шла степью, которая вторично украсилась алыми маками. Жених оставил воз и побежал их собирать, а коварный возница стегнул лошадь и та понеслась. Жених с охапкой цветов бежал следом. Невеста возмущалась, а потом заплакала. Возчик, видимо, придержал лошадь, но не остановился. И жених прыгнул в телегу на ходу, продемонстрировал свою выносливость и ловкость.

Отец был человеком спортивным, хотя у него и признавали какую-то болезнь сердца. Ездил на велосипеде и мотоцикле, охотился, плавал, мог показать гимнастические и акробатические упражнения, но при этом совершенно не умел играть в мяч и танцевать. Мяча даже боялся и смешно закрывался от него руками.

Молодым через несколько дней пришлось расстаться. Юная жена ещё должна была год доучиваться. Ей предстояло нелёгкое объяснение с родителями, которых она о предстоящем замужестве не предупредила. Да и сама не предполагала, что практика им закончится. «Практика закончилась, и Костя сказал: “А теперь поедем, распишемся”. И я, как сомнамбула, отправилась за ним», – рассказывала мама. Она частенько говорила, что находилась под гипнозом его обаяния, объясняя почему, такая красавица, вышла за него замуж.

Но я думала, что не только в гипнозе обаяния было дело – был ещё престиж его положения, редкая по тем временам его профессия инженера, сулящая хорошие жизненные перспективы. Что касается личных притягательных качеств, то я не раз была свидетельницей того, как женщины «таяли» от моего отца. К маминому счастью, он не был «бабником». Не хотелось этого слова употреблять, но точнее не нашла. Но, как и Никита Ксенофонович, любил поухаживать, распустить павлиний хвост: в дополнение к красноречию был галантен, хорошо пел, играл на мандолине, а на пианино – только одной рукой. Что касается престижной профессии, то о ней потом. Сейчас же расскажу о своих предках с материнской стороны.

Мой дед Алексей Васильевич Еленин был фельдшером, сыном зажиточного украинского крестьянина. По семейному преданию, тот был знахарем и потому захотел, чтобы его увлечение, его лекарские способности получили научное подкрепление хотя бы у сына. Опять-таки по преданию, передаваемому мне мамой, прадед Василий побывал на русско-турецкой войне, должно быть, 1877–1878 годов и вывез оттуда невесту – молдаванку Василину. Она родила троих детей: Алексея, Григория и Павла и умерла. Прадед женился вторично, но о мачехе деда мама ничего не знала. Выучившись же, дед мой оторвался от семьи. Может быть, и не по своей воле, а потому, что работать ему пришлось далеко от родных мест. Где были его родные места, я не знаю.

Служба занесла его под город Ровно, в Здолбунов, через который проходила железная дорога. Там посещая как фельдшер семью железнодорожного рабочего Якова Краски (Краска, Краске, Краско – так трансформируется эта довольно распространённая фамилия), он обратил внимание на одну из дочерей хозяина дома, Ванду Анну Розалию. У девушки оказалось несколько имён, поскольку она была лютеранкой по вероисповеданию и немкой по национальности. Но интернациональные браки, видимо, входили в традицию у Елениных. Девушка же произвела на молодого фельдшера впечатление пышностью фор, румянцем во всю щёку и весёлым нравом. На всякий случай, он посмотрел её зубы – они были безукоризненными. Внешний осмотр его вполне устроил, а то, что Ванда Анна Розалия не умела ни писать, ни читать, его не смутило. Он сделал предложение, его приняли. И опять мои бабушка и дед женились по расчёту. Деду нужна была здоровая будущая мать его детей, бабушке надоело жить в многодетной семье. Она среди сестёр была второй. А всех детей у Красок садилось за стол десять (сестра утверждает – двенадцать). Не уверена, что моя мама перечислила всех своих дядей и тёток в хронологическом порядке, да и вспомнить смогла девять человек: Эдуард, Георгий, Отто, Юлий, Рудольф, Александр, Ольга, Ванда, Лидия.

Прабабушка звалась Матильдой и до замужества «убегом», как и Анна Малуколо, была тоже дворянкой, на что указывала частица «фон» перед её девичьей фамилией, которую мама забыла. Фамилию забыла, но то, что Матильда бежала из отчего дома из-за любви к простому железнодорожному рабочему, помнила. По ехидному предположению моей бабушки Дуни, Яков Краска был «смазчиком». Но мама говорила, что слесарем депо. Это подтверждает и такой факт. У прадеда был рыжий, как и он, кот (опять рыжий прадед, но не «рудый пан»). И этот кот ходил его провожать до депо, дожидался хозяина на дереве в любую погоду и возвращался домой, сидя у того на плече.

Мама гостила у Красок и всегда общалась со своей бабушкой только через переводчиков, та говорила на немецком и польском языке, так за всю жизнь не выучив украинского или русского.

Прадед говорил на немецком, польском, русском и украинском. Считался в округе немцем, хотя был мазуром. «Мазуры – название и самоназвание населения северо-восточных районов Польши», так написано в Большой советской энциклопедии. И Краска – фамилия польская: краскою по-

польски называется сойка. Так что к немецкой крови прибавилась у меня и польская, ещё ранее передавшаяся от Каминских.

Прежде чем вернуться к новому семейству Елениных, скажу несколько слов о родственниках бабушки Ванды, её братьях и сёстрах. Все братья эмигрировали в смутное время Гражданской войны в Канаду. Кое-кто из них обнаружился письмами во время перестройки, ещё до бабушкиной смерти. Кажется, все они на чужбине детьми не обзавелись.

Старшая сестра бабушки Ольга вышла замуж до революции за циркача-немца Гольдмана, приехавшего на гастроли. Он её увёз в Германию, где у него оказалась ещё одна жена. Но это не помешало Ольге иметь от него детей. Там она вроде и умерла, а детей завещала своей сестре Лидии, которая их и воспитывала. Лидия вышла замуж за какого-то российского машиниста. Бабушка со своими зарубежными родственниками отношений не поддерживала. Не потому, что не умела писать, а потому, что это было в советское время опасно: общающиеся с иностранцами рассматривались официальными лицами как потенциальные шпионы. После окончания Гражданской войны бабушкина малая родина отошла к Польше. За рубежом оказались мать и сестра Лидия. Прабабка Матильда, по семейному преданию, умерла в сто пять лет!

Молодые Еленины обосновались недалеко от Здолбунова в селе Плужное Острожского района Ровенской области (не знаю, соответствовало ли это административное деление прежнему). Там и родилась 24 декабря 1911 года по старому стилю моя мама. Назвали её Евгенией, Женечкой.

Её рождение едва не стоило жизни роженицы. Та не могла никак родить, несмотря на квалифицированную медицинскую помощь и здоровую женскую суть. Когда врач и акушерка понуро в печали и смущении от своего бессилия удалились, кто-то из сочувствующих предложил сражённому горем фельдшеру позвать жидовку-повитуху. Деду было не до религиозных различий. Пришедшая старая еврейка велела поднять роженицу с постели и подвести к порогу открытых дверей, а той – что есть силы ударить ногой о порог. В результате этого нехитрого действия и родилась девочка. Ногу, кажется, бабушка Ванда повредила. Но это не имело большого значения. Она выжила! К некоторым потерям от родов можно отнести и несколько повреждённых зубов. Ими молодая женщина расплачивалась потом за каждого ребёнка.

После девочки в течение четырёх лет появились два мальчика Георгий и Леонид. Чтобы избавиться от нежелательной беременности, бабушка прыгала с крыши сарая, пила какую-то гадость, парилась – всё тщетно. После рождения третьего ребёнка искусный домашний медик подверг жену какому-то медицинскому вмешательству типа стерилизации, после чего она больше не могла иметь детей. Казалось бы, эта мера была принята во имя общего семейного блага, но бабушка, рассказывала мне, взрослой, о ней не раз и всегда с неизменной горечью и обидой, со слезами, и считала её причиной того, что ей в пятьдесят лет пришлось перенести сложную операцию.

Когда родился третий ребёнок, уже шла Первая мировая война, и, как всякая война, она принесла и экономические тяготы. Жизнь фельдшерского семейства стала совсем скудной. Выручало в какой-то мере собственное хозяйство. Без него в селе обойтись было нельзя: держали корову, пару кабанчиков, кур. Неграмотная бабушка, которую дед в семье звал Ньютой, производным от второго её имени – Анна, освоила азы фельдшерского дела: ставила банки, перевязывала раны, помогала мужу готовить всякие снадобья и микстуры, ездила в город в аптеку. И при всём при этом чрезвычайно любила кулинарное искусство. Она отдыхала у плиты. А жизнь для этого давала ей всё меньше и меньше возможностей. К мировой войне прибавилась гражданская. В сёлах начались всякие погромы и бесчинства. Мама рассказала о таком эпизоде из своего детства: Пошли они с отцом в ясный летний день в какое-то село к больному. Село это не было соседним, и по дороге к нему им нужно было пройти ещё через одно. В нём её внимание привлёк маленький белокурый мальчик, хорошенький, как ангелочек, игравший подле старого еврея. Двумя или тремя часами позже, когда она с отцом возвращалась, села этого было не узнать: многие хаты оказались сожжёнными, а возле одной из уцелевших лежали мёртвыми старый еврей и белокурый мальчик...

Каким-то образом деду удалось из села перебраться в Житомир, устроиться в госпитале, заниматься частной практикой. Причём он стал конкурентом нескольких врачей, в основном, видимо, потому, что его услуги стоили дешевле. Но мама объясняла эту популярность лишь его лекарским талантом, тем, что его предками были полесские знахари. Возможно, предполагаю я, от одной из знахарок (полесской ведьмы) и фамилия произошла – Еленины. Звалась эта лекарка Еленой и была более известна, нежели её муж, если он вообще, был. А то ведь фамилии от женских имён зачастую в сёлах получали внебрачные дети.

Житомир стал последним местом жительства для семейства Елениных и самым любимым.

Его романтический образ не затмили для мамы увиденные позднее столицы и более крупные города: Киев, Харьков, Москва, Ленинград, Свердловск, Красноярск, Одесса, не говоря уже о Рязани, которая маме не нравилась.

Мама никогда специально не говорила о красотах Житомира или о живших в нём знаменитостях. Но всегда сравнивала его с тем городом, о каком её собеседник заводил речь. Начинал, например, папа говорить о черниговских холмах – мама тут же вспоминала житомирскую скалу «Голову Чацкого», говорил папа о Десне – появлялись реки Гуйва и Тетерев. Пел по радио Козловский – мама сообщала, что слушала его в Житомире в пору ранней юности. Всплыла из тумана секретности фамилия Королёв, вдруг мама заявила, что он жил в одном с ними доме в Житомире; то ли раньше, то ли позднее она сказала, что знаменитый пианист Рихтер обитал в доме где-то близ житомирского Монастырского сада. Когда же настала пора мне читать произведения Куприна, мама заметила, что видела знаменитого писателя у знакомых своих родителей. Это показалось мне та-

кой немыслимой фантазией, что я отмахнулась от неё так же, как от информации о знакомстве моей прапрабабки с Анной Керн. Позднее все эти мамины, как мне казалось, домыслы я проверила. Всё оказалось правдой. А в старости так, между прочим, она поведала, что видела в Житомире Трощаго. Он ехал стоя в открытой машине, а за ним с ликованием бежали толпы евреев. Уж тут-то, к этой информации, мне потребовались подробности. Но мама смогла только добавить, что он был в кожаной куртке и с непокрытой головой, а волосы на голове лежали так плотно, как каракулевая шапка, что их не трепал ветер.

В Житомире в семейном укладе Елениных мало что изменилось – опять корова, тёлка, кабанчики. Одна годовалая тёлка едва не убила Женечку. Та читала лёжа во дворе книжку, тёлка, оказавшаяся почему-то не в стаде, подошла полюбопытствовать. И не пожелала уйти, не подчинилась окрику. Девочка встала, сорвала первый попавшийся одуванчик и замахнулась им. Тёлка боднула её раз, другой и, повалив, начала топтать. Хорошо родители были дома и выбежали на крик.

Вообще, Женечку в отрочестве и юности преследовали несчастные случаи. Дважды она загоняла себе в руку иголку. Первый раз, обороняясь то ли от брата, то ли от соседского мальчишки пальцами с вышиванием. Второй раз, опёршись с разбегу руками о ковёр, куда мать и дочь Еленины имели обыкновение втыкать иголки. В первый раз иголка дошла почти до локтя, и пришлось делать операцию. Во второй раз её удалось вытащить собственными семейными силами.

Была ещё одна очень серьёзная травма. С детства Женечка грезила цирком, как её тётушка, но не в том смысле, чтобы выйти замуж за циркача, а чтобы стать воздушной гимнасткой или наездницей. Последнее казалось ей более привлекательным, но освоить в Житомире верховую езду было делом нелёгким, просто тогда невозможным. Пришлось заняться гимнастикой. Не знаю, делала ли Женечка успехи, но занималась физкультурой не только на уроках. Однажды во время этих самостоятельных(?) занятий она гусеницей спускалась по шведской стенке, и в это время её кто-то окликнул. Она повернулась – и повредила позвоночник. В результате оказалась прикованной на девять месяцев к постели. Медики не надеялись, что девушка встанет. Но пронесло. С мечтой о цирке ей пришлось расстаться и поступить после семилетки в Житомирский индустриально-керамический техникум.

Сохранилась фотография ударного выпуска техников керамиков 1932 года Житомирского индустриально-керамического техникума. Среди них мама, уже замужняя, но не сменившая пока своей девичьей фамилии, и её подруги, с которыми она постоянно потом переписывалась.

Эта фотография была единственным документальным свидетельством того, что мама окончила техникум. Диплом она то ли потеряла во время войны, то ли не получила почему-то, а после войны не смогла его восстановить. Поэтому наклеенная на паспарту, вставленная в раму фотография висела в нашем доме на видном месте, соперничая с репродукциями картин Куинджи и Шишкина,

и поражала меня явным несоответствием им, пока бабушка Дуня не объяснила, почему фотографии такой почёт. Несответствия от объяснения, конечно, не стало меньше, но не оно теперь меня уже поражало, а вызванная тщеславием маленькая родительская уловка, невесть на кого рассчитанная. Ведь маминому самому первому начальству этот диплом демонстрировался, думала я, и на его основании её принимали на работу. Последующему же начальству, в отличие от меня, было известно об отсутствии у неё диплома, и оно довольствовалось её трудовой книжкой. Случайным же посетителям нашего дома не нужны были никакие документальные свидетельства производственного профессионализма его хозяйки. Но мои родители склонны были к каким-то странным для меня демонстрациям. Так, до войны в их комнате, закрытой для посторонних, вход в неё был через столовую, висел большой живописный портрет Ленина, в то время, как я не чувствовала, что они относятся к Владимиру Ильичу с большой симпатией. Но вернусь к маме.

Окончив техникум, она отправилась к мужу в Токаровку и начала работать на том же заводе, где проходила практику. Заглянув в её трудовую книжку, я обнаружила, что основанием для приёма на работу молодой специалистки послужило «отношение Житомирского индустриально-керамического техникума Токаровскому з-ду за № 343 от 14/ IV». Это отношение, а не диплом, потом будет служить основанием и для её перевода на другую должность.

Я никогда не касалась в разговорах с мамой её учёбы. Знала, что в школе она звёзд с неба не хватала, была прехорошенькой троечницей (тогда, правда, существовала иная система оценок), в техникуме училась не по своему желанию, а по воле отца. Большим разнообразием учебные заведения Житомира тогда не отличались, да и какая разница, где учиться, была для девушки, мечтавшей о карьере воздушной гимнастки. К тому же мама не обладала честолюбием. Вернее, она ничего не хотела делать, чтобы как-то продвинуться по службе, не завидовала женщинам, добившимся каких-то производственных высот. Но... была не равнодушна к служебной карьере мужа, и порой у неё прорывалось, что в своё время она с замужеством поспешила, могла бы стать, например, женой вице-адмирала...

Вице-адмирал был вполне реальной личностью, дальним родственником. У моей прабабки Матильды имелись какие-то братья и сёстры. Одна из сестёр тоже оставила родителей, вышла замуж за русского по фамилии Жуков. Их сын, то есть мамин двоюродный дядя, стал моряком. Будучи студенткой техникума, мама ездила к нему в Ленинград, где очаровала не только молодого дядюшку, но и его коллег-моряков. Однако отношения с моряками не получили дальнейшего развития. Дядюшка стал каким-то высоким морским чином, в котором слово «адмирал» присутствовало. Однажды с бабушкой Вандой я побывала в Москве у его вдовы. Она жила в прекрасном доме, кажется на Ленинградском проспекте, на фасаде этого дома вились белокаменные виноградные лозы. Вдову я не запомнила, так же, как и её сына, мало отличавшегося от меня по возрасту. И

этот визит, как и визит к моей тёзке, стал первым и последним. А вот с сестрой адмирала, тётёй Шурой, сблизилась, но об этом расскажу позднее.

Я теперь думаю, что мама не сдала дипломных экзаменов, всех или части, а причиной тому явилась её беременность, которую пришлось всё-таки в Житомире прервать. Врачи посчитали, что рожать ей в связи с её травмой позвоночника опасно, да и всё складывалось не в пользу ребёнка: нужно было техникум кончать, на работу устраиваться. Место по специальности на заводе получить. Наверное, всё устроилось бы и без этой жертвы... Но, но...

По специальности на заводе сразу мама не устроилась: несколько месяцев поработала на должности экономиста отдела рационализации, потом её перевели в заводскую химическую лабораторию, где она трудилась сначала как лаборант-аналитик, потом как лаборант-керамик по исследовательской работе.

Сейчас меня удивляет то, насколько развитым было это керамическое производство, расположенное в селе. Целый рационализаторский отдел с собственным экономистом! Проведение исследовательских работ! Во время молодости моих родителей промышленными предприятиями старались города не засорять. На Первомайском токаровском заводе, как называется он в документах, делали промышленную керамику для разного рода электрификации, а рядом в Барановке находился фарфоровый завод, где прежде, до революции, изготавливалась прекрасная посуда. И там на каком-то заброшенном складе работники завода находили ещё «остатки прежней роскоши» и одаривали ими иногда командированных к ним специалистов. Так, отцу за какие-то его профессиональные услуги были подарены две вазочки для цветов, в которых, впрочем, я цветов никогда не видела. Они стояли на письменном столе статуэтками: два зеленовато-серых, матовых амура, прислонившихся к колонне того же цвета, собственно вазе. Верх её был наклонно срезан. Благодаря этим вазам-статуэткам мне стало известно, что существует благородный бисквитный фарфор.

Разжился там отец и старинным чайным сервизом, который собирал сам на этом старом складе из разрозненных предметов и потом сокрушался, что при ближайшем рассмотрении видно, как они отличаются. Сервиз этот потом подавался в торжественных случаях гостям, дети к нему не допускались, и мне не удалось его разглядеть. Насколько помнится, он имел медальоны с какими-то сценами (дамы, кавалеры) в них, и все изображения были выполнены в красновато-коричневых тонах. Для специалистов, однако, он представлял какой-то несомненный интерес, и отец всегда с гордостью рассказывал, как обнаружил его среди всякого утиля. И эта гордость, как я теперь понимаю, была не только следствием обладания некой ценной редкостью, но и сознания того, что вот и в сельской глуши, не только на знаменитом фарфоровом заводе в Петербурге (Ленинграде) делались великолепные вещи.

В Токаровке мои родители прожили до середины 1935 года. Здесь расширилась их семья. То ли до приезда мамы, то ли вскоре после него к папе переехали из Нежина его родители. Наверное, не

очень полагаясь на то, что смогут ужиться со взрослым сыном и его юной женой, они не продали в Нежине дома, а сдали его квартирантам, надеясь таким образом обеспечить себя хоть какими-то собственными средствами, а не сесть на шею сына. Пенсии ведь они не получали.

Думаю, Нежин они покинули ещё и из тех соображений, что дед стал в городе известной личностью, к которой очень многие (люди его возраста) начали относиться недоброжелательно. Дело в том, что отца на последнем курсе то ли собирались исключить, то ли уже исключили из института как сына священника, хотя дед и не был уже священником и давно плёл лапти. До этого по той же причине отец лишился избирательных прав. В общем, существовало два выхода из создавшегося положения: отказаться сыну от отца или отказаться отцу от своего сана. Дед отказался от сана через газету.

В такой же ситуации оказались двоюродные братья моего отца – Подберезские. Но их отец не захотел расставаться со своим саном дьякона, который так тяжело ему достался, к нему Николай Подберезский шёл всю свою молодость и зрелые годы. Кончилось всё тем, что сыновья отказались от него.

Мой отец институт окончил при поддержке родителей, моральной и материальной, о чём никогда не забывал. Братья Подберезские получили образование, кто хотел, самостоятельно. Один из них, Николай, учился в одно время с Леонидом Брежневым и хорошо его знал. Но это к слову пришлось.

Кроме старых Красногорских, в новом семействе обосновался ещё младший мамин брат Леонид. Не знаю, что он делал в Токаровке, работал или проходил практику. А 28 мая 1934 года родилась я.

Ночью на село обрушился небывалый для тех мест мороз и погубил уже цветущую картошку. А с ней связывались большие надежды: люди едва оправились от свирепствовавшего годом раньше на Украине голода. Моё рождение как-то умалило новую напасть не только для моих родных, но и для персонала родильного дома. Я была единственным ребёнком на весь родильный дом: мало кто отваживался в то время заводить детей. Взволновались даже крысы: они стали навещать ко мне в кроватку, наверное, только затем, чтобы взглянуть на меня. Но я не понимала их намерений и дико кричала на всю больницу. Медперсонал никак не мог понять, в чём дело: крысы, слышав шаги, скрывались. Но всё-таки были как-то обнаружены. Меня в нарушение медицинских правил переместили из детской палаты к матери. А крысы потом долго мне, уже подростком, мерещились во время высокой температуры: сидят в ногах и смотрят на меня красными глазками.

Надо сказать, что моего рождения все родные ждали ещё и с большой тревогой. У мамы помимо позвоночника оказались больны почки, поэтому её положили в больницу загодя до родов, что-то месяца за два.



В это время оставил семью Леонид, перешёл в общежитие. Там он заболел, вернулся в Житомир. Болезнь оказалась скоротечным туберкулёзом, и девятнадцатилетний парень умер. В этой смерти мама винила только мою бабушку Дуню: выгнала-де она мальчика из семьи. Бабушка же всегда с горечью, но без намёка на вину вспоминала об этой ранней смерти, говорила о Леониде с симпатией: он старался помочь ей по хозяйству (мне запомнилось, что колол дрова, чистил картошку), был общителен, навещал их часто, уже переселившись в общежитие. Я думаю, большей свободы юноше захотелось, а тут такой случай представился – сестра в больнице, и он вроде бы в её новой семье чужой.

Я прожила в Токаровке год с небольшим. Мама опять работала, тогда не было длинных декретных отпусков. Доглядывали меня бабушка с дедом. Дед потрянул стариной и сделал прекрасную деревянную кровать, с узорными спинками, с вырезанными на них цветами. Бабушка гуляла со мной, не доверяя эту важную процедуру деду. Главное в ней было не простудить девочку и не показать любопытным соседям – и не только из суеверия, уж очень страшна уродилась внучка, суцая обезьянка: худое тельце в волосиках, ушки завёрнуты, и из них торчат чёрные клочья. Бабушка, однако, не отчаивалась, любопытным говорила нелюбезно: «Чего сейчас смотреть, вот ходить будет, тогда увидите». Деда утешала: «Даст бог, выровняется, в кого её плохой быть: мать с отцом не уроды». Она делала ударение на «у» и чуть лукавила: мои мать и отец вполне могли бы выступать на конкурсе красоты, если бы отец ростом вышел.

Я, действительно, к году выровнялась и сижу на подносе, запечатлённая фотографом, очень даже миленькая. Такой месяца через два и поехала с семейством в город Гусь-Хрустальный, куда отца направили работать на стекольный завод имени Дзержинского. Это было очень известное предприятие, и перевод воспринимать следовало как повышение.

Гусь-Хрустальный был в ту пору небольшим городом в мещёрской тайге. Со всех сторон его окружал лес, посреди города красовалось озеро с плавающим по нему островом. На острове зеленели деревья. Город вырос из рабочего посёлка при старинном, середины XVIII века, хрустальном заводе, первом в России предприятии, выпускающем хрусталь. Построил завод и благоустроенный посёлок при нём заводчик Мальцев. Его наследники расширяли предприятие, рос и посёлок. В 1929 году к старому заводу прибавился новый стекольный завод, но уже по выпуску оконного стекла. Вот на это-то молодое и очень перспективное предприятие и был назначен отец главным механиком. Мама тоже начала работать сменным химиком лаборатории завода. И опять я оказалась на попечении у бабушки и деда.

Летом следующего, 36-го года, мои родители отправились в Житомир и взяли меня с собой. В связи с этой поездкой сохранились у меня кое-какие сведения – проблески своих и родительских вос-

поминаний. Добирались до Житомира мы каким-то окружным путём через Харьков и Киев. Впрочем, Киева было не миновать. В Харькове почему-то не ходил общественный транспорт, и меня папа долго нёс на руках. С тех пор мне никогда не хотелось на руки, и обещания поклонников носить всю жизнь на руках вселяли в меня тревогу, а переход от слов к делу повергал в ужас.

О Киеве вспоминается какой-то балкон с ажурным ограждением, через прутья которого проходила моя нога, повисая над тротуаром, над головами идущих внизу людей, и вышитый подол платья. Обладательница его оттащила меня от решётки. Из объяснений, последовавших от мамы или от папы через многие годы, я узнала, что мы тогда посещали папиного друга Соббатовского, и это его жена-актриса прервала моё опасное занятие.

В Житомире мне запечатлелись необыкновенной красоты жёлтые цветы где-то там, куда водил меня дед Алёша, огромные деревья в лесу или парке, за которыми прятался от меня мой дядя Жорж, и кролики, живущие в клетках чуть ли не в коридоре. Ни родителей, ни бабушки я совершенно не помню, словно их и не было, как и разных других людей. Да и дед Алёша, и дядя Жорж – это не образы, а понятия: у них нет лиц, какие-то части одежды, руки, ноги, даже не сами ноги, а фрагменты обуви, брюк. Родители потом удивлялись, как я в свои два года что-то вообще запомнила. Дед водил, оказывается, меня на кладбище, к могиле Леонида, где действительно цвели тогда жёлтые ирисы. Дядя Жорж гулял со мной в Монастырском саду и из озорства прятался от меня за деревьями, кролики тоже были, но бедняги плохо кончили: пошли мне на шубку. Ей, правда была уготована долгая-долгая жизнь, хотя однажды ещё в Гусе-Хрустальном на эту белую шубку посягнули молодые гончие, вышедшие во двор погулять одновременно со мной. Мама и моргнуть не успела, как они повалили меня, приняв, наверное, за зайца, и начали катать. Как и кто меня от псов отбивал, история умалчивает, но ни шубка, ни её обладательница не пострадали. Я даже этого события не запомнила. Но было, было!

Мама из-за болезни, как написано в трудовой книжке, в апреле 36-го года оставила работу. Об этой болезни речи никогда не было. Но во время житомирского путешествия мама уже не была связана работой. Пребывая потом дома, она очень подружилась с дедом Никитой, сохранила о нём добрую память и любила рассказывать, как они вдвоём ходили в лес, в мешёрскую тайгу. Дед прекрасно там ориентировался и оказался завзятым грибником. Самому ему наклоняться за грибами было трудно, и он говорил: «Женечка, посмотри-ка, там под кусточком должен быть гриб».

Я тоже помню деда в связи с этими грибными походами. Возвратившись из леса и показывая мне белый боровик, он читал стихотворение, кажется, Плещеева, где были всякие просьбы внуков, в том числе и «дедушка, найди мне беленький грибок» и ответ деда: «Полно, полно, дети, дайте только срок – будет вам и белка, будет и свисток».

Вот написала «тоже помню деда», но его-то самого я как раз и совершенно не представляю, как и деда Алёшу. Запомнила строчки из стихотворения. Его совсем недавно я обнаружила в каком-то

сборнике и поразилась, какое оно длинное. Запомнила дедушкино полупальто «горохового цвета», как говорила бабушка, и то, как дед доставал из его кармана мне пряник. Помню большие белые руки деда, мои были красноватыми. Помню узкую кушетку, на которой он лежал, и висевшую на стене над ней украинскую плахту вместо ковра. Я знала, что этот красивый кусок ткани женщины на Украине носят вместо юбок. Эта плахта была не единственной, и бабушка показывала мне, как именно её надевают. Запомнилось бабушкино действие, но не она сама. Увы, я не представляю теперь лиц никого из моих родных той поры, как и их знакомых. Однако из этих обрывков воспоминаний возникло чувство любви к деду, и я попыталась передать его в рассказе «Вкус калины». О маминем же и деда творческом сотрудничестве я, полуторагодовалая, по воспоминаниям мамы, сложила свою первую фразу «Деда палки, мама козы» и, обращаясь с ней к гостям, тянула их к окну. Там под сделанным дедом резным карнизом висела вышитая мамой занавеска, на которой ришелье были изображены не козы, а козлы, столкнувшиеся на мостике. Я знала, что это козлы, но «козы» произносить было легче.

Отец пропадал на заводе, ездил в командировки. Побывали мы – мама, папа и я – в Выксе, она находилась недалеко от Гуся-Хрустального тоже в мещёрском лесу, навестили папиного двоюродного брата Николая Подберезского. Там жили в то время старший брат Николая, Феодосий, и кто-то из младших, то ли Дмитрий, то ли Евгений, и их мать, дедушкина сестра Елизавета. Эту поездку я совсем не помню, о ней мне рассказал дядя Коля и показал сделанную в Выксе мою фотографию. Такой фотографии в нашей семье не было.

Потом наступила чёрная полоса в жизни моих родителей и их близких.

В начале 1937 года умер дед Никита, думаю, от туберкулёза, хотя родители говорили, что от хронического плеврита.

Вскоре не стало его сестры Лизы. И тяжёлая на подъём, бабушка Дуня ездила в Выксу во время её болезни. Та умирала от рака.

В ноябре 1937 года по делу «контрреволюционной кулацкой диверсионной группы» арестовали дедушкиного брата священника Николая Красногорского. Он служил в Мене некогда Черниговской губернии, а после того как там закрыли Троицкий храм, переехал в село Новый Ропск, откуда и был направлен в новозыбковскую тюрьму. Как пишет Людмила Гончарова в статье «Земля предков», «в декабре Особая тройка при НКВД по Орловской области приговорила его к расстрелу. Приговор привели в исполнение 14 января 1938 года. В 1960-м священник Николай Красногорский был посмертно реабилитирован».

Ещё раньше, в 1931 году, по делу Клинской контрреволюционной монархической организации был сослан в Казахстан Иван Красногорский – священник церкви пророка Илии, находившейся селе Каменский хутор. В ней со дня её основания служило пять поколений Красногорских.

По этому же делу привлекался и Дмитрий Красногорский, но из-за болезни его не успели репрессировать. Он умер от туберкулёза в 1936 году в городе Унечи.

Арестовали в Житомире деда Алёшу – старого фельдшера, дали десять лет без права переписки. Бабушка Ванда потом говорила, что погубила его дворничиха. Он отказался делать ей подпольный аборт (официально они были запрещены), и та пригрозила его упечь в тюрьму на долгие годы. Долгих лет не было – деда вскоре расстреляли, о чём его родные узнали только в 50-е годы, после его реабилитации. А в чём обвинялся дед, дяде толком выяснить не удалось. Вроде бы всплыли сведения, что он некогда был эсером. В этой связи думаю, что не только дворничиха его губила – были ещё какие-то недоброжелатели и среди его коллег. Да и личные качества деда могли сыграть немалую роль: дед был острым на язык, насмешливым. И эти черты передались его детям. Дядя был насмешлив, за словом в карман не лез, и мама – тоже. А насмешничая в нашем домашнем, женском кругу прибегала порой к смелым сравнениям. За что мы с Ниной звали её между собой наша «вульгаришен таблетен». Нам попалась какая-то лекарственная коробочка с такой надписью, и мы воспользовались этой надписью для характеристики. Наверное, мама пускала стрелы своего остроумия не только в нашем обществе, расточала насмешки и на работе.

Предполагаю это потому, что однажды в гостях, на чужой свадьбе, при знакомстве с её сослуживицей я услышала: «Такая же ехидная, как и её мать». Замечу, что тогда, кроме «здрассте», я ещё ничего не успела произнести. Но «видно птицу по полёту». Смешно, но этот «полёт» произвёл на сына дамы, жениха на этой свадьбе, совершенно иное впечатление. Провожая, он нёс меня на руках, поскольку выпал снег, а я была в туфлях. Правда, дома невесты и моих родителей были рядом, да и я тучностью не отличалась. И можно было бы порыв чужого жениха объяснить просто учтивостью, если бы тот ни предлагал немедленно бежать с ним в подмосковные Подлипки, где он, молодой специалист, получил квартиру. Но этот забавный инцидент, из серии «приятно вспомнить», случился лет через двадцать после трагических событий.

В 37-ом же году нависла угроза ареста и над моим отцом. Уже взяли директора и главного инженера. Отца оставили только потому, что нельзя было лишиться завод всего руководства в одночасье. Этой очень небольшой задержки хватило главковскому начальству в Москве, чтобы перевести отца от его районных «доброжелателей», маленьких удельных партийных князьков, подальше, под Ленинград, на стекольный завод имени Бадаева, в посёлок Бадаевск. Пронесло!

И в это жуткое время родилась 2 августа 1937 года моя сестра.

Меня взял отец с собой, когда поехал забирать маму и новорождённую. Мы ехали в «эмке». Мама с завернутой в одеяло сестричкой сидела впереди и то и дело поворачивала ко мне голову. Мы давно не виделись, она опять несколько месяцев провела в больнице. И опять я не вижу её лица – помню лишь мамин белый берет и тёмную прядь волос под ним...

Имя сестричке предложила я. Вернее, на моём предложении остановились. Мама с бабушкой чистили картошку на кухне, и, как всегда, я вертелась рядом, потому что любила есть картошку сырой, и иногда мне удавалось ухватить кусочек. Женщины между делом называли имена: Людмила, Валентина, Светлана. Вот тут я и выкрикнула: «Нина!» И это имя сразу всех устроило: Ниной, а не Тоней звали бабушкину дочь, папину любимую сестру, хотя полностью её имя было Антонина, Ниной звалась мамина закадычная подруга. У меня же был свой прототип – наша молодая соседка Нина Григорьевна.

Наша семья занимала две комнаты в трёхкомнатной квартире, а в третьей жили, меняясь, соседи. Последней была девушка, пленившая меня, эта самая Нина Григорьевна. Я любила ходить к ней в гости, в её особый девичьи мир, который чем-то неуловимо отличался от нашего домашнего. Не предметами быта, а самой атмосферой, ну, наверное, ещё коллекцией безделушек. Нина Григорьевна коллекционировала фарфоровых собачек. Одного маленького пёсика она подарила мне. Он и сейчас у меня.

С Ниной Григорьевной связан эпизод, моего первого скандального пиара. Вспоминая его, я до сих пор испытываю чувство стыда, а потому, видимо, и не считаю возможным использовать неблагоприятные поступки в качестве рекламы.

Тогда же произошло следующее:

К Нине Григорьевне пришёл в гости молодой военный. И он мне, девице трёх с половиной лет, очень понравился, я попыталась привлечь его внимание. Но известные мне способы детского кокетства на него не подействовали. Тогда я решила его шокировать: принялась говорить ему то, что в нашей семье (я полагала, что и у всех людей) считалось верхом неприличия. Во-первых, я сообщила ему, что у нас есть плевательница. Существовал тогда в интеллигентных семьях некий предмет широкого пользования, стоявший, однако, где-нибудь в укромном месте и не афишировавшийся. Гости при острой необходимости могли им пользоваться, но украдкой. У Нины Григорьевны этого предмета не было. Её гость моё сообщение пропустил мимо ушей. Я не сдалась и домой не отправилась, а, во-вторых, поведала, что, кроме плевательницы, у нас есть маленькая девочка. И к девочке военный остался равнодушным. И, понимая, что гибну окончательно, я, в-третьих, выдала: «Девочка какает в пелёнки. Какашки отвратительно пахнут, а бабушка эти пелёнки...» Я не договорила, что делает бабушка с пелёнками – заплакала и выскочила из комнаты. Меня не остановили, и никто за мной не пошёл, чтобы рассказать моим родным о моём недопустимом поведении. Но до самого нашего отъезда в Бодаевск я ждала наказания и перестала ходить к Нине Григорьевне, чтобы не напомнить ей о своём недопустимом поступке.

Сейчас, когда раздольно звучат с экрана телевизора и по радио неприличные остроты, я вспоминаю эту свою попытку пиара и ещё один эпизод, когда мне пришлось плакать от стыда, от доминирующего в моём сознании понятия «неприлично», привитого бабушкой Дуней.

Я стою в нашей большой комнате (столовой) вечером за шторой. Штора плотная и опущена до пола. Утром она шнурками поднимается вверх. Меня из комнаты не видно. Мне хочется, чтобы домашние меня хватились и принялись искать. Но бабушка, мама и вошедший папа думают, видимо, что я в другой комнате и спокойно разговаривают. Папа даже начинает рассказывать о каком-то цирковом представлении, которое видел во время перерыва на заводе. Представление ему не понравилось: выступали примелькавшиеся акробаты, фокусник, клоун с примитивными шутками. Одна такая: клоун курит большую папиросу, а дым валит у него... из штанов. «Фу, какое неприличие!» – возмутилась бабушка, и я за шторой от стыда, потому что услышала это не рассчитанное на меня неприличие, заплакала. Плачу ещё и потому, что понимаю: не могу ведь теперь просто так выйти – подслушала, получается, затаившись, этот взрослый разговор.

В Бадаевск мы перебрались всей семьёй в феврале 1938 года, хотя отца приняли на работу 27 декабря предыдущего года. Завод был меньше гусевского, но «не до жиру, быть бы живу», к тому же совсем рядом находился Ленинград.

Добирались мы через Москву, где делали пересадку с остановкой в комнате матери и ребёнка, которую мы с бабушкой из-за моих капризов миновали. В раннем детстве я панически боялась градусников и лопаточек, с помощью каких врачи осматривают горло. Увидев эти медицинские инструменты особенно в чужих руках, поднимала несусветный рёв. А чтобы попасть в эту комнату матери и ребёнка (в открытую дверь её так призывно глядел игрушечный домик), нужно было измерить температуру и показать горло. И хотя домик манил, да и дети подле него тоже были мне интересны, я отказалась пройти нехитрое обследование, и бабушка вынуждена была со мною несколько часов ходить по вокзалу, сидеть где-то в его зале ожидания.

В Бадаевске решили меня определить в детский сад, чтобы дать возможность маме пойти работать: с двумя внучками бабушка не совладала бы. Но я опять подняла крик на весь посёлок, закатила такую истерику, что работники детсада от меня отказались: в то время температуру мерили и заглядывали в горло детям в саду каждый день. Мама осталась дома. Хотя отцу и было очень трудно содержать одному семью из пяти человек. Я помню, что он получал тогда 800 рублей, и они с мамой мечтали о диване. Вся остальная мебель была ещё бабушкина.

Опять мы занимали две комнаты в трёхкомнатной квартире. В одной комнате недолго жила семья из трёх человек – Велещинские Виктор Леонардович, Христина Васильевна и Галя, моя ровесница.

Благодаря этому семейству я впервые узнала, что люди делятся по национальностям. Несмотря на польскую фамилию, наши соседи относили себя к немцам. Оказалось, что немцев в посёлке много. К Велещинским приходили в гости родственники и знакомые, говорившие по-русски, но имевшие нерусские имена Гертруда – Герта, Клаус, Ганс, Эльза. Потом приехала моя бабушка Ванда, и я

узнала, что она тоже немка, а мы, Красногорские, украинцы. Но, кажется, ещё до приезда бабушки Ванды мне стало это известно, как и то, что бывают также белорусы и евреи. Бабушка в нашей соседке Христине Васильевне нашла заинтересованную слушательницу своих устных повествований, в них время от времени звучало это слово «еврей». Потом навестил нас бывший главный инженер гусевского завода, Вульф. Его освободили из тюрьмы. Применительно к нему тоже прозвучало это слово.

А белорусом бабушка назвала племянника деда Никиты – Николая Подберезского, дядю Колю. Он летом с семьёй приехал к нам на новоселье. Родителей дома не оказалось. Бабушка занималась ликвидацией «детской неожиданности». Сестричка ещё бесштанная, но уже вымытая стояла на голый клеёнке в своей кровати. Бабушка на короткое время вышла из комнаты, наказав мне присматривать за сестрой. Но я тут же устремила к окну. А там внизу во дворе (мы жили на втором этаже) появились какие-то незнакомцы с чемоданами – приезжие: высокий мужчина и мальчишка-дошкольник, в модных тубетейках, и полная светловолосая женщина в ярко-синем платье. Они о чём-то говорили с мальчишкой из нашего подъезда, Ромкой. Ромка вдруг показал на меня, мужчина помахал мне рукой, и приезжие двинулись к крыльцу.

«Бабушка, гости! К нам идут гости!» – завопила я. Вошедшая в комнату бабушка заметалась, запричитала: грязные пелёнки на полу, таз, ведро, неубранные детские постели. Разор, беспорядок! Бесштанная внучка, и не найти сухих штанов. А внучка-сестричка вдобавок и заревела. Под этот рёв вошли гости. «Ах, тетя Дунечка, какие пустяки! Всё это дела житейские». Женщина в ярко-синем платье подхватила то ли ведро, то ли таз, дядя Коля пелёнки, бабушка, охая, поспешила за ними. Приезжий мальчишка остался в комнате. Звали его Болеслав. «Как польского короля», – сказал он с гордостью. «Ты что, немец?» – спросила я удивлённо. «Польский король был поляком», – ответил мальчишка.

Бабушка потом говорила, что дядя Коля Подберезский по отцу белорус. И аж до недавнего времени усомниться в этом не было у меня оснований. Тем более у Подберезских чуть ли не семейным гимном звучала белорусская песенка про паучка «Паучок за печкой кросельки снуе» с припевом:

Чаму ж мне ня петь,

Чаму ж ня гудеть,

Коли в нашэй хатоці

Парадок ідзець.

Прывожу гэты прыпев, як он запомніўся мне на слух.

Гости исполнили у нас эту песню, потом под аккомпанемент мандолины, на которой играл отец, исполнялись украинские песни, но только не модные тогда «Распрягайте, хлопцы, кони», а украинские романсы – их много знала бабушка. Папиным же любимым романсом был «На заре ты её не буди», им обычно заканчивались у нас приёмы гостей.

Благодаря приезду Подберезских я впервые побывала в Ленинграде – в Эрмитаже и Екатерининском музее. От посещения последнего я вынесла уверенность, что видела царицу Екатерину II. Мы с Болеславом только-только нырнули под бордовый бархатный шнур, ограждавший царскую кровать, чтобы потрогать её, а может, и прилечь на неё, как появилась высокая белокурая женщина в зелёном платье с бомбошками у ворота и строго сказала: «Дети, этого делать нельзя!» – и я сразу поняла: это сама царица.

Перед отъездом гостей мы с Болеславом поссорились из-за конфетной коробки, на которой была изображена белочка, я полагала, поссорились навсегда. Лет пятнадцать мы действительно не поддерживали отношений, но не из-за ссоры, а из-за того, что эти отношения просто не успели сложиться – слишком далеко мы жили друг от друга.

В нашей семье часто вспоминали Подберезских, отец переписывался с дядей Колей. Бабушка тепло вспоминала и тётю Наташу, которую называла Талей, очень уважала её за то, что она учительница, и не раз говорила, что дяде Коле очень повезло с женой. Едва ли она знала, что Таля вторая жена Николая Подберезского, а первая Груня – простая крестьянская девушка, на которой он женился, уйдя из дома, в пору своей комсомольской юности. Если об этом эпизоде из биографии племянника и знала, то уж то, что он чуть не оставил Талю, конечно, ей было неизвестно. Не оставил же он вторую жену и сына только из соображений карьеризма, о чём мне сам чистосердечно рассказывал, уже будучи стариком. А дело было так:

Приехал он один в Выксу работать. Кажется, уже утвердили его парторгом ЦК на металлургическом комбинате. Жил один, пока устраивалась квартира. Как холостяк проводил время. Было лето, и он ходил на озеро. Оно в Выксе большое, красивое, посреди посёлка, но в окружении леса. Там участками хвойного леса отделялись улицы одна от другой, великолепным был и разбитый ещё известным заводчиком Баташовым парк, где преобладали хвойные деревья. Романтические, словно созданные специально для влюблённых, места. Николай Николаевич и влюбился вдруг. Познакомился с милой девушкой Машей на лодочной пристани у озера. Была она с какой-то компанией, где знали его и приняли, одинокого, в своё общество. Вскоре Николай с Машей стали встречаться одни. Ему было лет двадцать пять, ей и того меньше. Любовь их захлестнула, а между тем вот-вот должна была приехать в Выксу его семья, и назревал большой скандал, грозивший его карьере молодого партийного работника. Маша решила уехать. Было бурное расставание. Однако в тайне от неё он оформил экстренно командировку, и где-то в пути сел в тот поезд, которым поехала она. А дальше они поступили совсем не так, как когда-то поступил влюблённый в актрису Савину маститый писатель Тургенев, не в купе продлили своё расставание, а вышли на ближайшей станции и провели пару дней в гостинице. Потом Маша вышла замуж и родила дочь. У Николая через несколько лет появился второй сын. Но ни она, ни он так друг друга и не забыли. Но карьера требует жертв!



Мои родители часто ездили в Ленинград, вместе и поодиночке. Мама одна ездила за продуктами, отец по служебным делам. Вместе же они посещали театры и потом дома обменивались впечатлениями. И я как сказку слушала либретто «Лебединого озера» и «Щелкунчика», рано узнала о прекрасных ленинградских балеринах Галине Улановой и Наталье Дудинской. Знала о существовании и Ольги Лепешинской. То ли она, то ли какая-то другая известная балерина приезжала в Гусь-Хрустальный на гастроли и заодно в поисках будущих учениц для московского балетного училища. В Дом культуры собрали детей подходящего возраста. Как-то в этой группе оказалась я – то ли сама выскочила, то ли мама (в Гусе она была одной из активисток) меня привела, перепутав нужный возраст. Только как раз на меня и обратила внимание знаменитость и посокрушалась, что девочка мала. Зря сокрушалась: я подросла и проявила абсолютную непригодность к балету – не могла повторить ни одного движения.

Бабушка балета не признавала и при разговорах о нём вспоминала, что её старший брат Яков, Яша, называл балет «зрелищем для старых холостяков». В Ленинград она так никогда и не выбралась и вообще после смерти дочери всякие зрелища и развлечения из своей жизни исключила. Но это не касалось художественной литературы. Бабушка продолжала много читать и пристрастила и меня к чтению. Ежедневно после обеда, как я уже говорила, мы уединялись с ней у неё за ширмой в столовой.

Столовой именовалась одна из двух наших комнат, где семья собиралась за обеденным большим, но ещё и раздвижным столом, где принимали гостей, и где всегда поддерживался порядок: никаких детских игрушек, никаких одежек на стульях, тем более ползунков или пелёнок. Для детских игр существовал определённый уголок в той комнате, что называлась спальней. Могла с таким же успехом именоваться она и кабинетом, поскольку там стоял большой письменный обитый зелёным сукном стол. Подобный стол недавно увидела я в музее. Но кровати всё-таки преобладали. Родительская – большая с никелированными спинками, с ковром над нею. На ковре персидский базар под пальмами. Я представляла, что это те самые пальмы, что росли «в песчаных степях аравийской земли». Параллельно родительской кровати, вплитык к ней кроватка сестрички и перпендикулярно ей моя, тоже с никелированными спинками, но маленькая, и над нею ковёр поменьше то ли в персиках, то ли в яблоках, и ещё картина – тройка на зимней дороге. У пристяжной, повернувшей голову, злющая морда.

Но вернусь в столовую-гостиную, но не в залу! Залами тогда больших комнат не называли. В столовой – посудный и книжный шкафы, стол в окружении стульев, бабушкина кровать за серой ширмой и на противоположной стене старинные большие часы. Не просто часы, а реликвия – вещь, принадлежавшая бабушкиным родителям и доставшаяся им от кого-то из пращуров. Часы эти, как полагалось таким часам, были с боем, но против боя почему-то никто не возражал, хотя

радио неизменно выключали поздним вечером, хотя и был у него перерыв от двенадцати ночи до шести утра.

Итак, за ширмой, повторяюсь, я выслушала сказки Пушкина, стихи Кольцова, «Вечера на хуторе близ Диканьки» Гоголя и массу всяческих сказок. Недавно вот узнала, что сказки по распоряжению Крупской не переиздавались. Она считала, что действительность лучше всяких сказок и нечего детям забивать голову фантазиями.

Но бабушка то ли не знала этой установки, то ли её игнорировала. Ни Ленин, ни Крупская её симпатией не пользовались, к тому же она исключала их из круга интеллигентных людей. Они, живя за границей, обедали на кухне(!), до чего, по бабушкиному мнению, интеллигентные люди не могли опуститься. Кухня в порядочных домах до революции – это исключительно территория служанок. Ну а после революции – место коммунального приготовления пищи, стирок, коммунальных ссор и сплетен, но никак не приёма пищи, не застолья, объединяющего людей. Пройдёт очень много лет, и мы с сестрой однажды накроем бабушке, проспавшей общий семейный обед, стол в нашей индивидуальной кухне, и она откажется там обедать, гордо заявив: «Я вам не служанка на кухне есть!»

Итак, голову сказками и она, и родители мне изрядно забили, и каждый на свой вкус. У бабушки это были русские народные сказки, у родителей – более поздние интернациональные произведения, вроде рассказов Киплинга или «Сказок дядюшки Римуса» Джоэля Харриса.

Эти сказки о Братце Лисе и Братце Кролике моим родителям самим так нравились, что они решили скопировать редкую книжку, хотя она была не тонкой, как встречается в продаже теперь. Мама переписывала в толстую тетрадь текст, а папа рисовал иллюстрации тут же на странице, пером.

Отец вообще хорошо рисовал и иногда занимался рисованием для отдыха. Рисовал карандашом и акварелью, пытался писать этюды маслом. Я помню мамин карандашный портрет: мама за вышиванием со склонённой гладко причёсанной головой, с двумя подвязанными косичками на затылке, в полосатой кофточке. Помню выполненную акварелью птицу – то ли сойку, то ли ромжу, в общем, ту самую «краску», от которой пошла фамилия маминого деда.

А рукописная книга, хотя и не оконченная, долго жила у нас, меняя место жительства, и где-то всё-таки потерялась. Жаль! – очень хорошие были там рисунки.

Бабушка эту книгу не одобряла. Её смущала Матушка Мидоус с девочками, и она говорила: «Вы что, действительно, не понимаете, что это совершенно не детские сказки и кто такая эта самая Матушка с её девочками?» Папа смеялся и отвечал: «А вот мы сейчас Ирушку спросим, что это за матушка, что это за девочки». – «Это знакомая Братца Кролика – крольчиха со своими дочками», – не задумываясь, отвечала я, папа, довольный, смеялся, успокоенная бабушка досадливо махала рукой, и чтение «Сказок дядюшки Римуса» продолжалось. Теперь я, пожалуй, соглашусь с бабушкой: Матушка Мидоус – кроличий вариант матушки Кураж.

Папа тоже перенял от бабушки любовь к чтению. Но читал не так, как читают мужчины теперь, то есть, не лёжа на диване, его у нас тогда не было, и не индивидуально, про себя, а сидя после ужина за обеденным столом, у которого собиралась вся семья, читал что-нибудь вслух красивым баритоном с прекрасной дикцией. Книги он брал в библиотеке, куда мы с ним ходили по воскресеньям вдвоём. Тогда не было свободного доступа к книжным полкам, и отец всегда называл то, что ему требовалось. Вот сейчас думаю, что он занимался в какой-то мере просветительством, знакомил маму и меня в какой-то мере с русской классикой: «Севастопольские рассказы», «Герой нашего времени», «Тамань», «Пиковая дама», «Дом с мезонином» с прелестной девушкой Мисюсь. Так было отец начал звать Нину – Мисюська, но приехавший его друг Владимир Соббатовский сказал: «Ну какая же она Мисюсь, она Мумочка». И привилось. Стали сестричку называть дома Мумочкой, Мумкой. Почему-то приняты были у нас детские прозвища, меня называли Кукой. Так я сама себя стала именовать года в полтора, а то и раньше, когда увидела своё изображение в зеркале. Кука на моём тогдашнем языке означало «кукла».

Естественно, в семье книголюбив я хотела поскорее выучиться читать, но родные считали, что в четыре года это ребёнку вредно. Тогда я выучилась сама. Отец всегда читал газету «Известия». Я вертелась в это время напротив него и разбирала известное мне название по буквам. Их и выучила эти первые семь букв. Потом находила их в других словах, догадывалась, как звучит слово – и выучилась читать... кверху ногами. Так именно я видела название газеты в папиных руках. Когда, хвастаясь бабушке, что научилась сама читать, я перевернула какую-то книгу, бабушка пришла в ужас и поспешила меня переучить. Но это заняло не так уж много времени. Так что в возрасте пяти лет я поехала в Житомир к другой бабушке уже грамотная.

Летом 39-го года за сестрой и племянницами приехал из Житомира Жорж. Дядей я его тогда не называла – он этого сам не хотел, полагая, что такое определение родства его старит. Было ему двадцать пять лет. Высокий, спортивный, шумный, он любил всякие розыгрыши и шутки, за словом в карман не лез и пользовался у девиц успехом. А мне совсем не нравился, потому что именно я, пятилетняя, стала предметом его шуток и всяких бурных (буйных) игр. То он на шкаф меня сажал, то, играя со мной в капусту, так исхлестывал мне руки, что они опухали, то ставил на голову. Да и не забыла я того ужаса, в какой он поверг меня, несколькими годами раньше, спрятавшись в Монастырском саду за дерево. Пишу «Монастырский» с большой буквы, потому что никакого монастыря в мою пору возле сада не было, осталось одно название.

Жорж к этому времени окончил техникум по деревообработке и работал на музыкальной фабрике, хотя к музыке никакого отношения не имел, даже не пел дома. На фабрике делались гармошки и детские музыкальные игрушки. Интересы у меня они не вызывали. Жорж обещал подарить мне игрушечное пианино, и с мечтой об этом подарке прошло моё раннее детство, но так я его и не

дождалась. Музыкальная фабрика стала единственным для Жоржа предприятием, а хобби на всю жизнь – изобразительное искусство, сначала живопись, потом скульптура. Он даже учился одно время в художественном училище, но потом почему-то его оставил и перешёл в техникум, выпускавший главным образом специалистов для спичечного производства. Но продолжал тогда заниматься живописью. У нас в Бодаевске висела над книжным шкафом его картина: фрагмент то ли парка, то ли леса – деревья над водоёмом и их отражение в тёмной воде.

Как мы ехали из Ленинграда в Житомир, совершенно не помню. Воспоминания начинаются с поездки уже с бабушкой Вандой от вокзала до дома в трамвае. Бабушка молодая, нарядная, красивая, коротко стриженная, в крепдешиновом светло-коричневом под цвет волос платье, такого же цвета туфли на высоком каблуке. Я смотрю на неё во все глаза. Она мне очень нравится. И вдруг она начинает в трамвае плакать – рассказывает маме, что недавно умерла её крестница, молоденькая девушка, ещё школьница. Её укусил щенок в школьном дворе. Забрёл во двор, мальчишки принялись бросать в него камни. Девушка, оберегая щенка, взяла его на руки. Он, вырываясь, её укусил. Никто не придавал этому значения, мальчишки только посмеялись над спасительницей – вот тебе благодарность. А щенок оказался бешеным...

После этого рассказа я стала опасаться собак, а их, как назло, было в Житомире много и поблизости от нас. Весь день до позднего обеда мы с мамой проводили у бабушкиных приятелей Бучёвских в саду. Дом их находился на той же улице, где жила бабушка, но был их собственным, от улицы отделялся садом. В саду росло множество цветов, были и какие-то деревья, а за погребом, похожим на небольшую горку, жили дикие кролики. Гонять их прибежали из дома противные грязно-белые злющие комнатные собачонки. Набегавшись за кроликами, они устремлялись к нам вроде бы и с добрыми намерениями, но мне всё равно делалось страшно.

В конце сада у Бычёвских росли арбузы, по-украински, кавуны. Они ещё не успели созреть и годились пока только на то, чтобы делать из них игрушки: человечков, коз или коров. Меня очень удивляло, что у одного приятеля Жоржа и мамы была фамилия Кавун. И этот Кавун, будто посмеиваясь над собою, утром, пробегая мимо бабушкиных окон на работу, стучал в окно и пел: «Чи живы, чи здоровы все родичи гарбузовы?» Гарбуз же по-украински – не арбуз, а тыква. Был этот дядя Кавун человеком весёлым, вечно куда-то спешащим. По вечерам он останавливался на улице у открытого окна и разговаривал с мамой или Жоржем, но в комнату не заходил.

Ещё один мамин приятель имел фамилию Цыбульский, то есть в переводе на русский язык Луковский, возможно, это он пел песенку. Я ведь лиц не запоминала тогда.

Бабушкина девичья фамилия тоже мне казалась странной и нелепой: как может человек называться Краской – другое дело Краскин, Краскина.

По вечерам, уложив Нину, мама уходила в гости. В одном доме с бабушкой жила мамина подруга Ада, какие-то другие её соученики и соученицы тоже находились в это время в городе. И Жорж, конечно, вечером не сидел дома. Мы оставались с бабушкой вдвоём, не считая спящей сестрички, выходили на крыльцо и долго сидели на нём, любуясь звёздами. Напротив крыльца рос громадный каштан, и звёзды мерцали через его ветви. Но чуть правее от него, над перекрёстком, небо висело тёмным-тёмным покрывалом в светлых крапинках звёзд. Временами одна из них вдруг срывалась и летела наискосок вниз. О чём мы говорили тогда, да и говорили ли вообще, не помню. Но я чувствовала родственную связь с бабушкой, надёжную её защиту. Однако понимала и то, что так, как бабушка Дуня, она меня не любит...

Вообще, в Житомире все относились ко мне иначе, чем дома. Никого не интересовали мои успехи в чтении, знание многочисленных стихов. Здесь просили читать стихи едва лепечущую Нину и шумно восторгались тому, как она, коверкая слова, произносит: «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!» Этой фразе Нину научил Жорж и, ставя на стул, хохотал всякий раз, как она, вскидывая ручку, бессмысленно её выкрикивала. В Житомире неожиданно для себя я стала «большой девочкой», что оказалось вовсе не таким радостным, как мне представлялось в Бодаевске, когда случалось заявлять: «Я уже большая»,— или мечтать о том, что вот скоро подрасту и стану большой. В этом новом качестве я лишилась внимания всех родственников. К тому, что мама занята Ниной больше, чем мной, я давно привыкла и знала этому объяснение, но дома её отдалённость от меня уравновешивалась любовью ко мне бабушки Дуни и интересом отца, который видел во мне «уже разумного человека». Здесь же глядя, как забавляются Ниной Жорж и бабушка Ванда, я испытывала чувство, какому тогда не знала названия, — ревность.

Много позднее мне не раз приходилось видеть, как страдают маленькие дети, когда их меньшим собратьям взрослые (родные или посторонние) бездумно уделяют больше внимания, чем им, в общем-то, тоже ещё малышам, как озлобляются они на счастливых соперников.

Я же тогда озлобилась на дядюшку Жоржа.

Но у «большой девочки» оказались и преимущества перед младшей сестричкой. Мы с мамой пошли на кукольное представление «Красной шапочки», потом в цирк, где, кроме акробатов, жонглёров и фокусников, были удав и крокодил. Удав, как водится, кого-то обвивал, но не задушил, а крокодилу женщина в зелёном платье (очень похожая на виденную мной Екатерину II) засунула голову в пасть, и мне стало противно — пасть ведь слюнявая, да и крокодилу, наверное, было неприятно чувствовать во рту волосы.

Однажды вечером по улице пошли войска. Соседи говорили, что начались большие маневры. Узнав об этом, мама стала собираться домой. В Ленинград мы отправились уже без Жоржа.

Следующим запомнившимся мне событием стала начавшаяся в последний день ноября Финская война.

Мама на недавно вымытые окна наклеивала крест накрест белые полоски бумаги, бабушка строчила на швейной машинке чёрные занавески. Их теперь полагалось опускать по вечерам, чтобы вражеские самолёты-бомбардировщики не увидели в темноте дома. Темноту полосовали наши, советские, прожекторы, обшаривали высокое небо, стараясь найти эти вражеские самолёты. Иногда звучала сирена воздушной тревоги, и мы спешили в бомбоубежище, которое появилось за домом. Но обошлось – нас не бомбили, а в марте война закончилась, и отца вдруг направили в отошедшую по мирному договору к Советскому Союзу часть Финляндии: он должен был обследовать оставшееся там промышленное оборудование. Возвратившись вскоре, отец рассказывал, какой в Финляндии был прекрасный порядок и на производстве, и в жилых домах. И то и другое жители покинули, оставив всё своё имущество. Говорили, что многое они заминировали. Но, думаю, не из боязни подорваться на mine отец не привёз с собой трофеев, а из соображений чисто этических. Впрочем, на память он всё-таки взял пару удивительных финских пробок. Они были универсальными – подходили к любым бутылкам и закрывались защёлками. Время от времени потом подобные пробки появлялись и у нас в стране, но так и не привились. Поразили ещё отца там знаменитые финские ножи: лезвия их прятались в самые разные рукоятки, и он начал делать похожие для себя и мамы, чтобы использовать их как перочинные. Это вышли очень художественные, красивые предметы – на металлической ручке мамино ножица были выгравированы две лилии, смыкающиеся у её монограммы.

Вообще в тот год мои родители много занимались всякими поделками. Отец украшал металлическими затейливыми ручками и декоративными уголками пластмассовые шкатулки для рукоделия, сделал нам с Ниной несколько деревянных расписных игрушек, среди них мне запомнились корова, кот и собака. Мама шила кукол. Одна, в пышных юбках и с угольно-чёрными косами, называлась Кармен. Очень похожую куклу через много лет я увидела в знаменитом кукольном театре Образцова в спектакле «Под шорох твоих ресниц». Мастерили всё это они, наверное, не потому, что покупные игрушки стоили дорого или их не было в продаже, а из желания заниматься творчеством, что-то делать интересное, красивое своими руками.

Бабушка тоже принялась реализовывать свои дремлющие хозяйственные способности. Во дворе появились грядки (правда, не только у нас), а на них выросли салат, лук и редиска. Редиску, едва она взошла, облюбовал какой-то малюсенький жучок – долгоносик и принялся продырявливать нежные листочки. Бабушка посыпала грядку золой. Мама же вдруг стала меня называть «долгоносиком», и мне это очень не нравилось. Вроде и ласково звучало, но было обидно. Когда грядка лука оцетинилась перьями, отправляясь поливать, бабушка звала меня с собой, а на огороде, после поливки доставала из кармана два куска чёрного, посыпанного солью хлеба, срывала сочные

влажные перья, и мы там лакомились. И в этом маленьком пиршестве на огороде мне чудилось что-то тайное, запретное, необычное для всех остальных жителей нашего многоквартирного дома, но очень сближающее меня с бабушкой.

Кроме огорода, попыталась она завести гусей. Почему гусей – не знаю, река находилась далеко от дома. На хуторе (Бодаевск состоял из посёлка у завода и хутора) были куплены курица-наседка и несколько гусиных яиц. Предполагалось, что курица высидит гусят и воспитает их. Но вывелся только один гусёнок. Позднее он всё норовил искупаться у колонки. Опечаленная неудачей с гусями, бабушка не оставила своего хозяйственного рвения и решила разводить кур. Мама где-то купила инкубаторных цыплят и привезла их в коробке из-под туфель. Милые жёлтые комочки стали довольно быстро расти, превращаясь в основном, к бабушкиному огорчению, в петушков. А бабушка-то надеялась, что на следующую весну молодые куры порадуют её яйцами. Но всё это пернатое поголовье, за исключением гуся и старой наседки, до весны не дожило – с ним расправился хорёк.

Меня в тот год тоже посетили творческие устремления: я принялась сочинять сказки и рассказывать их ребятам на крыльце. Сначала это был просто пересказ мне известных сказок, но, когда слушатели вошли во вкус и число их стало увеличиваться с каждым днём, пришлось мне начать придумывать новые – не терять же аудиторию и свою популярность. Честно говоря, к сказкам я прибегла в борьбе за лидерство во дворе с одной девочкой, которая приобрела его благодаря своей редкой кукле с закрывающимися глазами. Я противопоставила этой кукле сказочных героев – и не прогадала. Кукла померкла для моих сверстников и сверстниц навсегда, слушать сказки приходили даже школьники, даже немислимо взрослый, четвертоклассник, Ромка задерживался на крыльце вместо того чтобы идти за хлебом.

Наши посиделки обычно прерывали родители: большие дети имели разные семейные обязанности. Своих обязанностей «большой девочки» я что-то не помню, но именно с того лета 40-го года меня отец начал готовить к школе. Читать я умела, но, научившись, самостоятельно читать не стала. Не хотела и писать. В общем, отец усаживал меня за письменный стол и сначала заставлял что-то читать (вплоть до «Известий»), потом – писать в тетрадке, по линейкам: «Ира идёт в школу. Ира хочет в школу». В школу я не хотела: наслышалась от старших ребят и про домашние задания, и про оценки «плохо» и «очень плохо» и про то, что провинившихся школьников ставят к доске.

Поэтому, когда пришла к нам моя будущая учительница, ею оказалась хорошо известная мне жена директора завода, я на её замечание-утверждение: «Ирочка, ты, конечно, хочешь в школу» честно ответила: «Совсем не хочу! Ни капельки!» Мне потом от домашних здорово попало: нагрубил, оскорбил, вела себя неприлично, что люди подумают.

В том, что разговор с Ольгой Александровной (или Владимировной?) станет известен многим, и я не сомневалась. Заводской посёлок, как позднее я неоднократно убеждалась, – это особый мир, где

все обо всех всё знают, где люди общаются не только на работе, но и в свободное от неё время: ходят друг к другу в гости, ездят вместе в театры, на пикники, где они друг другу под час ужасно надоедают. Последнее обстоятельство, по-моему, тогда уже произошло с отцом, и он стал поговаривать о новом месте работы. Предполагался переезд в Ленинград. Отца принимали на знаменитый фарфоровый завод имени Ломоносова начальником производства. По нескольким причинам переезд откладывался. Одной была неподходящая квартира – в полуподвальном помещении, – от неё отец отказался: жить в сыром Ленинграде да ещё в полуподвале более чем рискованно. Заинтересованное в хорошем специалисте заводское начальство подыскивало или ремонтировало подходящую квартиру. Да, отец был высококлассным специалистом, потому что обладал талантом инженера.

Это теперь, когда существует масса людей, называемых инженерами, кажется, что инженером может стать любой. Получить диплом инженера – да, но, чтобы стать настоящим специалистом, нужен талант.

Итак, отец ждал перевода, и родители прорабатывали меня для порядка, полагая при этом, что учиться в поселковой школе мне не придётся.

И действительно, учиться в поселковой школе мне не пришлось и вообще учиться в тот год. Началась Великая Отечественная война, Вторая мировая война.

А лето в тот год обещало быть прекрасным. Рано наступила светлая теплынь. Отец приходил с работы засветло (стояло время белых ночей), и мы всей семьёй успевали до сна сходить на речку. Родители любили купаться вечером. Река Госна находилась недалеко от дома за заводом. Мы с Ниной оставались на берегу, а мама с папой в одинаковых чёрных купальниках бросались в воду, и я испытывала чувство близкое к тому, что пережила когда-то в монастырском саду, хотя и видела их, и мама уверяла, что далеко от берега они отплывать не будут. Спокойнее мне было, когда с нами на речку шла бабушка. Она не купалась, сидела на берегу, не снимая одежды. А вот какая на ней была одежда, не помню. Я её не замечала. Что-то очень скромное, старушечье, с длинным рукавом и во все времена года тёплое. Бабушка всегда мёрзла и считала, что и мы мёрзнем, а потому старалась надеть на нас, меня и Нину, байковые (под платья) лифчики. Сама она длинного лифа, в талию, как корсет, с косточками не снимала даже в июльскую жару. На моё удивление отвечала, смеясь, что этот лиф позволяет ей сохранять молодую осанку и вспоминала какую-то знакомую поры своей молодости – тонкую, словно жердь, но всё-таки затягивающуюся в корсет и объяснявшую это тем, что без корсета не сделает и шага – корсет удерживает её кости. «А мои кости удерживает лиф», – говорила бабушка. Она в шестьдесят лет была худощавой, седой и старой. Одеждой мало отличалась от хуторских старух и, когда я рассказывала ей о нарядах бабушки Ванды, говорила:



«Ну так она ещё молодая, на двенадцать лет меня моложе, горожанка», – но в этих словах я чувствовала некую зависть и осуждение. Как-то, когда бабушка Ванда гостила у нас, отец купил обеим бабушкам одинаковые туфли, коричневые, на так называемом венском каблуке. Бабушка Ванда сразу стала туфли носить, а бабушка Дуня свои спрятала. Они потом достались мне и решили мою послевоенную обувную проблему.

Из-за своей «старости» бабушка Дуня не ходила с нами в ближайший лесок за гонобольшю. Это был и не лесок, а, скорее, заросли кустарника, в десяти минутах ходьбы от дома, даже Нина доходила туда самостоятельно, не просилась на руки. Но как-то так случилось, что бабушка давно зачислила себя в немощные старухи, и с этим все домашние согласились. Она взяла на себя обязанности по дому и огороду, ухаживала за курицей и цыплятами, но от дома никуда не решалась отойти, даже в магазин за хлебом. И мне было удивительно услышать от молодого соседа, сменившего Велещинских: «Какая красивая женщина – твоя бабушка». – «Мама?» – переспросила я, подумав, что сосед ошибся. «И мама тоже, но я имел в виду бабушку», – сказал сосед.

Моё представление о женской красоте связывалось в основном с тогдашней модой, с определённым типом советской женщины, к которому ни мама, ни тем более бабушка Дуня не относились. Модным же типом тогда считались коротко стриженные блондинки, похожие на популярных актрис Любовь Орлову и Марину Ладынину. Они были спортивны, энергичны и решительны. О маме же наши знакомые говорили, что она красавица и похожа на какую-то Авдотью Панаеву. Кто такая эта Авдотья, я тогда не знала, но предположила, что она современница Пушкина или Лермонтова, когда жили красивые совсем по-иному женщины. А портрет Панаевой увидела только недавно и могу теперь подтвердить: действительно, мама на неё была похожа, но красивее. А старых женщин никто, кроме соседа, при мне не называл красивыми, и у меня сложилось представление, что красота и старость – понятия не совместимые. К тому же красивой женщина может быть, думала я, только в красивом платье. Вот бабушка Ванда – другое дело: она не старуха, и платья у неё прекрасные.

Начинался тёплый, ясный день. Похожая на Панаеву мама в пёстром сарафанчике, на зелёном поле которого одновременно цвели и зрели ягоды, стояла на подоконнике и мыла открытое окно. Я со двора от скамейки под липами с тревогой смотрела за её действиями – как бы ей ни упасть со второго этажа. Народу во дворе было мало, несмотря на выходной: кто-то ещё спал, кто-то поехал в Ленинград. Я скучала и вполуха слушала радио. Громкоговоритель висел недалеко от скамейки на столбе. Из него неслись какие-то марши. Они мне не нравились, но всё же это было лучше, чем ненавистные мне песни хора имени Пятницкого «Загудели, заиграли провода...» и «На закате ходит парень...». Вдруг музыка смолкла, стали передавать важное сообщение. У столба откуда-то сразу появился народ. Я услышала страшное слово «война» – и помчалась домой.

Мама стояла у репродуктора и плакала. Её слёзы я видела впервые и была так потрясена, что не обратила внимания на то, были ли рядом с ней домашние. Оказалось, что война сразу же коснулась нашей семьи непосредственно: уже бомбили Житомир, где были бабушка Ванда и Жорж и куда мы опять собирались поехать.

Привычная наша жизнь с началом войны стала быстро меняться. Маму мобилизовали на рытьё окопов, и она уехала, оставив нас с Ниной на бабушку. Бабушка, не выходявшая прежде со двора, стала ходить в магазин и выстаивать там очереди за какими-то не виданными до войны продуктами вроде кокосового масла и арбузного сахара. Отец допоздна находился на заводе.

А тем временем немцы наступали и уже 9 июля взяли Житомир.

Опять на наших окнах появились маскировочные занавески и белые полоски бумаги, приклеенные крест накрест. Опять выла сирена воздушной тревоги, и мы спешили к бомбоубежищу. Но скоро укрываться в нём стало невозможно из-за выступившей воды. Почвенные воды затопили и ров нового убежища, который принялись было рыть жильцы дома. А жильцов с каждым днём становилось всё меньше. Ушли на фронт санитарками милые длиннокосые девушки из нашего дома, только-только окончившие школу. Ушёл наш сосед (кажется, вдвоём с приятелем, который то ли жил с ним, то ли подолгу гостил у него). Один, Порфирий, так уж точно, не жил, а приезжал в гости из Ленинграда. Был он военным, и мне запомнился только его ремень на гимнастёрке, новенький, из толстой кожи, холодный и жёсткий. Этот Порфирий, случалось, брал меня на руки и невольно прижимал к ремню, а однажды попытался увезти с собой в Ленинград маму, заодно и меня. Я играла во дворе, в песочнице у скамейке под липами. Порфирий и мама сидели на скамейке и тихо разговаривали, потом стали громко спорить. Порфирий схватил меня и быстро пошёл со мной к станции. Мама едва поспевала за ним и требовала, чтобы он меня отпустил. В общем, никуда мы не уехали, а Порфирий больше к соседу не приезжал.

За год или за два до войны сосед оставлял свою комнату, чтобы предоставить её маме с Ниной. Нина болела скарлатиной, лежала в ленинградской больнице, а, вылечившись, должна была выдержать карантин, то есть быть изолированной от меня. Они с мамой поместились в соседской комнате. Я очень соскучилась по сестричке и не могла дождаться, когда же кончится её затворничество в чужой квартире, к дверям которой мне запретили подходить. Я и не подходила – подползала и заглядывала в щель между полом и соседской дверью, но видела только Нинины туфельки и светло-коричневые чулки в резинку.

Когда сосед отправился на фронт, его совершенно пустая квартира перешла в наше распоряжение, и мы с Ниной бегали по ней из угла в угол. Как-то к нам присоединилась Галя Велицинская, пришедшая со своей мамой. Галя вспомнила, как мы с ней бегали по этой же комнате, когда они переезжали и выносили мебель. Уже вынесли большую родительскую кровать, но она, Галя, забывшись, по привычке решила сесть на неё – и очень ушиблась, а я будто бы смеялась.

Велицинские приходили узнать, поедем ли мы в эвакуацию. О ней уже начали говорить, вернее на заводе к ней готовиться, составлять списки тех, кто решил ехать. Выяснилось, что большинство хуторян намерено остаться, в том числе все родственники Велицинских, да и они сами. Одни полагали, что до оккупации дело не дойдёт, другие надеялись, что, если даже немцы и придут, то им, как своим соплеменникам, не причинят зла.

А между тем фронт приблизился к посёлку. И однажды над ним на глазах жителей нашего дома среди бела дня завязался воздушный бой. И вскоре один из самолётов рухнул на заросли гоноболи. Не сразу взрослые решились побегать туда посмотреть, что с лётчиком: боялись, что это немец и хотели, чтобы был он. Кажется, так и произошло, но помню я только то, что лётчик оказался жив, хотя и повредил позвоночник.

Мама вернулась с окопов. Рытьё их дало тот же результат, что и рытьё нашего бомбоубежища – очень быстро их заливала вода. Мама рассказывала, что это, по сути дела, были тяжелейшие археологические раскопки. То и дело что-то обнаруживалось: оружие, утварь, монеты и даже бумажные деньги. Но над «археологами» часто стали появляться немецкие самолёты, так что было не до того, чтобы рассматривать находки.

Прошло всего два месяца с начала войны, но враги уже подходили к Ленинграду. С эвакуацией завода опоздали. Его решило какое-то высокое начальство взорвать. Отец оказался среди тех, кто должен был руководить этой акцией. Он оставался в Бадаевске, а мы, его любимые женщины, отправлялись к неведомым землям. Сначала на барже по Тосне до какой-то близко подходившей к реке станции, потом по железной дороге должны были двигаться до какого-то посёлка Красноусольский в Башкирии.

Ехали мы в товарных вагонах, сколько времени, не знаю. Но то, что вообще доехали (в результате до села Бобино), чудо. Эшелон, идущий перед нами, разбомбили, идущий за нами – тоже. Наш же как-то умудрялся проскакивать. Но всё-таки и мы попали под обстрел. Была дана команда всем оставить вагоны и рассыпаться по полю. Люди разбежались, а самолёт, на бреющем полёте, раз за разом пролетал над ними. Бабушка толкнула нас с Ниной в какую-то канаву и бросилась на нас. Стрелял ли этот самолёт или только пугал, страху я натерпелась на всю жизнь, и не забыть мне ни этого придорожного луга, ни поросшей травой канавы, ни самолёта в облачном небе.

Позднее отстала от поезда мама, отправившаяся за водой. Воду набирали на станциях. Стоянки эшелона не были регламентированными. Какой ужас должна была испытать бабушка, оставшаяся одна с двумя детьми, семи и четырёх лет. Что пережила мама! Отстала она из-за какого-то мерзавца, стоявшего за ней в очереди к водокачке. Понимая, что он не успеет набрать воду, тот ударил маму, подставившую чайник под кран, по руке. Пока она поднимала чайник, пока ждала, когда её враг наполнит свой, конечно, время упустила и не заметила, как эшелон ушёл. Но кипяток всё-таки налила, и это спасло её от простуды. К счастью, не только негодяй встретился ей, но и чело-

век благородный, железнодорожник, сопровождавший поезд с каким-то оборудованием, идущий на восток. Он позволил маме проехать несколько перегонов на открытой площадке, подарил шапочку (мама выскочила за водой в лёгком жакете, с открытой головой), дал брезент, чтобы укрыться от ветра.

«Но, если бы не чайник с кипятком, я бы там и под брезентом окоченела»,– вспоминала мама.

Наконец мы благополучно миновали зону бомбёжек и обстрелов. Однажды кто-то вечером, стоявший у приоткрытой двери нашего вагона, радостно крикнул: «Посмотрите, здесь горят огни! Здесь нет затемнения!»

В селе Бобино мы оказались чудесным бабьим летом. Сияло солнце, летала паутина. Местные жители убирали с полей и огородов картошку, морковь и турнепс. Нас поселили в семье комбайнёра. Это были радушные, симпатичные люди, комбайнёр, его жена и её сын, лет пятнадцати. Комбайнёр был лет на десять старше своего пасынка и лет на десять моложе жены. После уборки урожая его забрали на фронт.

Мама сразу, как мы приехали, стала работать в колхозе. Бабушка принялась хозяйничать в сельских условиях и неожиданно для меня, наверное, и мамы попала в свою среду. Она прекрасно пекла в русской печи хлеб, чем удивляла хозяйку и соседок, сбивала масло, пока можно было купить дёшево молоко. Чтобы получить сливки, его носили на конец села, где у кого-то был сепаратор.

Сливки помещали в керамическую крынку и весёлкой пахтали масло.

Вот набрала на компьютере два слова «весёлкой» и «пахтали», и он их не подчеркнул – знает, а я там, в Бобине, слышала и поняла их впервые. «Весёлка» – примитивный инструмент для сбивания масла, делавшийся из верхушки соснового побега, чтобы были естественные рожки, а «пахтать» – сбивать.

Вообще, тогда за два месяца я узнала много нового, входившего в нашу сельскую жизнь с миром диких деревьев и домашних животных: овец, коров, лошадей. За хозяйским огородом протекала маленькая речка, нужно было только пройти по мостку, чтобы попасть в урему, лесок с зарослями черёмухи и калины. Ягоды их жители Бобина заготавливали впрок. Из черёмухи делали черёмуховую муку и пекли с ней пироги, калина шла на пироги и на кулагу. И опять компьютер «кулагу» не подчеркнул, а в четырёхтомном словаре русского языка, вышедшем в 1983 году этого слова нет. Даль же объясняет: «Кулага – саламата, гуца, завара; сырое сложеное тесто, иногда с калиною...»,– и приводит пословицу: «Кулажка не бражка, не пьяна, ешь вволю». Есть вволю я её не стала, хотя и была такая возможность, а пироги с калиной мне понравились. Их приносила нам старушка, одетая во всё чёрное в знак траура по умершему мужу и пироги были поминовением по нему. Она и бабушка долго с пониманием беседовали, плакали и крестились.

Я уже сталкивалась со смертью. Умер дед, умерла в нашем товарном вагоне старая, больная женщина, страх смерти заставлял нас прятаться в бомбоубежище, опасаться немецких самолётов. Ещё до войны я спросила у бабушки, умру ли сама. Она ответила утвердительно, но тут же в утешение стала объяснять, что смерть обернётся рядом чудесных превращений: буду травкой, потом цветочком, бабочкой и так далее, пока опять ни превращусь в человека, но уже другого. В другого человека я превращаться не хотела и стала очень бояться смерти и предшествующих ей болезней.

В беседе с чужой старушкой бабушка сказала, что уже не чаёт увидеть своего сына живым и боится, что никогда не узнает, где его могила, да и есть ли она. Сказала, что её преследует злой рок: она вынуждена оставлять могилы своих близких навсегда. Старушка сочувственно кивала.

Получилось так, что я опять услышала не рассчитанный на мои уши разговор, опять не могла оставить своей случайной засады, но при этом не испытывала стыда, хотя опять плакала – теперь, жалея бабушку. Вскоре, задумавшись, она упала в открытый на кухне подпол – голбец. Его открыли, чтобы класть картошку, и бабушка знала это. Но думы о сыне оказались сильнее, и она, не глядя, ступила на то место, где обычно была крышка. К счастью, падая, успела ухватиться за лестницу и повредила только ногу. Вроде бы даже не поломала, но сильно ушибла. Врачей в округе не было. Медицина и при советской власти сельских жителей не баловала даже в мирное время. И опять приходили к бабушке какие-то сельские старухи со своими домашними лечебными средствами. И опять она находила с ними общий язык. А в Бобине и по одежде ничем от них не отличалась. Тоже стала носить платочки, завязывая их на шее, длинные юбки, обуваться в сапоги. Какие там туфли на венском каблуке!

Бабушка лежала и страдала от своей беспомощности, оттого, что из помощницы превратилась невестке в обузу. Своих мыслей в отличие от мамы бабушка при себе не держала. Мама была человеком, в общем-то, скрытным, и о чём думала она в это время, не знаю, как мы управлялись с сельским нашим хозяйством, не помню. Но нужно было и воду носить, и дрова колоть, и продукты какие-то на зиму заготавливать. Все они неудержимо начали дорожать и почти не продавались на деньги. В обиход входил натуральный обмен. А менять нам было нечего. самого ценного мешка с имуществом мы в дороге лишились, и мама с бабушкой обнаружили это уже в Бобине. Почему-то не оказалось и моей зимней обуви, так что по этой причине в школу я не пошла.

И вот, когда мама и бабушка ожидали только худшего развития событий, появился отец. Я была в это время во дворе и даже, кажется, не поцеловав его, помчалась к бабушке с этой чудесной, с этой невероятной вестью. Бабушка сразу не поверила... А потом быстро стала поправляться.

Отец рассказал, что завода взорвать не пришлось: не доставили взрывчатку, а немцы уже были на подступах к Бадаевску. Завод же был тогда единственным в Союзе, выпускавшим армированное стекло и стекло узорчатое, которое шло на остекление дверей и вставок для шкафов.

Группа несостоявшихся взрывателей получила приказ: по собственному усмотрению, отправиться или в Ленинград, или вдогонку за эшелонам. Директор и главный инженер на машине поехали в Ленинград, а главный механик, отец то есть, его заместитель Руденко и ещё кто-то предпочли второй вариант. И семьдесят километров шли пешком по болотам, то ли сокращая путь, то ли потому, что боялись встречи с немцами, да и железная дорога вблизи Ленинграда была разбомблена. Плутая без пищи и воды (пили болотную воду, процеживая её через носовые платки), они, наконец, вышли на какую-то станцию на пути следования нашего эшелона и узнали, что у него счастливая судьба: в Мгу он попал после того, как был уже уничтожен предыдущий поезд, Пеллу проскочил до её бомбёжки. Эшелоны шли один за другим, расформировывались по дороге. И наш вроде бы тоже поменял свой номер. Да и не целиком эшелоны доходили до планируемой станции назначения. Мы-то не в Красноусольске оказались. И не нашёл бы нас отец так скоро, если бы не Руденко. Тот, сын железнодорожника, то ли запомнил, то ли записал номер вагона, в котором мы поехали. В Бобине отцу было совершенно нечего делать, и он отправился в районный центр искать работу. Уже 17 октября приступил к обязанностям технорука пуговичной фабрики в Большом Устьикинске. Этой должности он потом всю жизнь стеснялся, хотя пробыл на ней всего два месяца. Большой Устьикинск располагался в устье реки Ик при впадении в неё реки Ай. Берега этих рек изобиловали ракушками, из которых и делались пуговицы. Но делать мужчине пуговицы в то время, когда шла большая война, конечно, было занятием недостойным.

Отец нашёл вскоре работу на военном заводе, близком к тому же ему по его профессиональному профилю. На этом заводе делались авиационные приборы, в которые входили какие-то части из стекла, в основном это были стеклянные корпуса различных термометров. Завод этот образовался в посёлке Натальинск Красноуфимского района Свердловской области из двух предприятий: Московского завода «Точизмеритель» и Натальинского стекольного завода. Отец устроился на работу как раз в пору этого слияния. В его трудовой книжке записано, что он уволен с фабрики по вызову стекольного завода им. Кирова, а через четыре дня уже принят на должность заместителя главного механика завода № 384 им. Молотова.

Мы, женская часть нашей семьи, оставались в Бобине до весны. Опять мама трудилась в колхозе. Бабушка удивляла своими умениями очередных хозяев, на сей раз мне малосимпатичных. Впрочем, как им было стать симпатичными: понаехали приезжие, создали дополнительные тяготы, потеснили, лишнего куска не съешь, чтобы не подумать, что у той голи перекаточной, какая за стенкой и вот-вот на кухню выйдет, таких кусков нет.

Наши хозяева ютились на кухне и спали на печи и полатах. Мы занимали большую комнату. Была и ещё одна. Она пустовала, и дверь в неё была заперта. Наверное, и без нас немолодые наши хозяева зимовали бы на кухне – у печи, на печи и на полатах. Но подступивший к нам голод их ни-

как не тронул бы даже в моральном плане. У них было хорошее хозяйство. И умный Василь Палыч регулировал его так, чтобы ни в чём не нуждаться, но и кулаком не прослыть. По внешнему виду и поведению он был типичный (киношный) кулак. Советскую власть едва терпел. И даже нарывался: на кухне на самом видном месте висела у него вырезанная, должно быть, из старинного журнала фотография царской семьи. От него-то я и узнала, что до революции страной управлял не добрый дедушка Ленин, а царь, которого по приказу этого добряка расстреляли вместе с женой и детьми – красивыми девушками в белых платьях и мальчиком в матроске. В ноябре рядом с этой фотографией появилась другая, страшная, – фигура девушки на виселице – и статья из какой-то газеты о Зое Космодемьянской. Эти фотографии Василь Палыч объединил словом «великомученики».

В силу своего семилетнего возраста я неправильно воспринимала своих хозяев и не любила их, наверное, больше, нежели они меня. Хотя они порой проявляли свою приязнь: угощали нас с Ниной шаньгами, предлагали лизнуть медку со скрученной из старой газеты трубочки, которую опускали в бутылку с мёдом. Василь Палыч как-то объяснил, почему мёд в бутылке, а не в кринке или в банке: «Чтобы не съисть всё в один присест». А в чулане у них стояла кадушка мёда, висели свиные туши, лежали замороженные кружки бульона и молока, стояли мешки пельменей.

Иногда кое-что из этого богатства перепало и нам в качестве платы за бабушкин и мамин труд. Бабушка прекрасно пряла и вязала носки и варежки. Мама тоже научилась вязать. Из спряденных льняных и конопляных нитей (тогда и понятия не имели, что конопля может идти на что-то иное, кроме мешков) хозяйка ткала полотно. На кухне стоял ткацкий станок. Бабушка ткать не умела и не стала учиться этому искусству, полагая, что оно ей в жизни не потребуется. Из полотна делались варежки для рабочих, заготавливавших в лесу дрова. Варежки были трёхслойные со слоем пакли между двумя слоями холста. Шерстяные же варежки и носки вязались для солдат.

В Устьикинске мы прожили до апреля и по последнему снегу отправились на санях в Натальинск. Где-то даже переправлялись по крепкому ещё, как нас уверили, льду через какую-то реку. Ночевали в поразительной чистоты татарском доме, хозяева которого ходили по комнате в белоснежных носках, что тоже было для нас удивительно: в носках ходить дома – у нас не было принято. Наконец, то ли за два дня, то ли за три добрались. И поселились в недавно выстроенном бараке, в одной-единственной девятиметровой комнате. В ней была печь. В ней обеденный стол зажали две кровати, на которых спали девочки и бабушка. Родители устроились на сооружённых уже после нашего приезда полатах. Все гигиенические удобства во дворе.

Уже с середины мая и мама стала работать на заводе. Но жизнь наша в материальном отношении продолжала быть очень трудной, скудной. То есть мы все голодали. Не так, разумеется, как жители осаждённых городов, но хлеб бабушка делила и клала его на самую высокую полку, повыше от

детей. А в некоторых семьях (наших соседей и моих соучеников) его запирали от детей на замок. Мне же доверяли за хлебом ходить и выстаивать в магазине огромные очереди. Однажды меня там чуть не затоптали. Я уцелела, хотя и упала на пол под десятки ног, но лишилась своей хорошенькой вязаной шапочки.

Доверяли мне и мамин обед приносить из столовой. Папа обедал там, когда придётся, то есть не в обеденный перерыв. Мамин же обед делили на всю женскую часть семьи. Бабушка брала его за основу и что-то к нему приваривала. Вот тут опять пригодился опыт её сельской жизни, её умение общаться с деревенскими людьми, её общительность. Деревенские старухи, независимо от их национальности (русские, марийки, татарки), приходившие в посёлок из ближайших деревень видели в ней свою. Она не стеснялась с ними торговаться и менять какие-то одёжки на муку и картошку. Распорола, например, юбку от декоративного украинского костюма, хранившегося в семье как реликвия. В нём как-то до войны сфотографировалась даже мама, но фотография эта исчезла вместе с самыми ценными вещами. А костюм был в другом мешке и потому сохранился. Из части юбки вышли прекрасные платки. На них бабушка выменяла у мариек картошку, чтобы посадить её. Закапывать такую ценность в землю было расточительно, и посадили только срезки. Позднее, когда картошка выросла, бабушка из мелочи делала крахмал. Папа для этой цели смастерил какую-то механическую тёрку.

В расчёте на будущий урожай, на эту самую мелкую картошку был куплен поросёнок, милое, забавное существо. При одной мысли о том, что симпатичного Борьку зарежут, у меня наворачивались слёзы. Борька не дожил до этого: умер собственной смертью, чем-то отравившись. Из него было сделано мыло, которое бабушка реализовала на базаре. При этом она никогда там сама не торговала, а договаривалась с тамошними постоянными торговками.

Странно, что бабушкины начинания этого периода не были успешными. Купили козу в надежде, что будет своё молоко. Нам прежде его покупали раз в месяц и давали в рюмках, такое оно было дорогое. Наверное, потому, что я отвыкла от него в детстве, у меня позднее развилась к нему непереносимость. А коза была прекрасная, Зорька – личность независимая, гордая, предводитель овечьего стада, да и вообще стада. Всегда шла во главе него. Не признавала козлов, с которыми её пытались сблизить. В общем, молока мы от неё не дождались, из её пуха ничего путного бабушка сделать не сумела. Оказалось, что пух прядётся иначе, нежели обычная шерсть. Пришлось Зорьку поменять на невзрачную, но молочную Марку. С этого обмена начались бабушкины сельхоздостижения. Но в них уже не было нужды. Стало очень успешно работать заводское подсобное хозяйство, созданное на правах одного из цехов. Рабочим необходимо было усиленное питание, так как занимались они вредным производством. Изделия, выпускаемые на заводе, кроме ртути, содержали ещё какие-то токсичные вещества.



Бабушкины достижения совпали по времени с общим улучшением нашей эвакуационной жизни. Завод отстроился, производство его продукции наладилось. В войне произошёл перелом: в победу теперь не просто верили – её ждали, её торопили: скорей, скорей. Я просыпалась с мыслью, что вот ещё один день прошёл, приблизил победу, приблизил в моей жизни время больших перемен. Своё пребывание в Натальинске мои родители считали временным, до победы. А между тем чужой завод, где они случайно оказались, стал местом применения их профессиональных знаний, способствовал расцвету этих способностей. Ему отец обязан своим карьерным взлётом. Явившись на заводскую строительную площадку среди лютой зимы «чёрной лошадкой» и передвигаясь по стройке в ботинках, а не в валенках, отец вскоре завоевал уважение среди коллег и директорское покровительство.

Ботинки, башмаки, я упомянула не случайно: не было у отца средств и других возможностей, чтобы приобрести валенки, а потому он обзавёлся на заводском складе солдатскими ботинками размера на три больше его ноги. Положил в них сена и газетной бумаги, на ноги надел производственные нитяные перчатки и принялся в этой экипировке бегать по строительной площадке, занимаясь её электрификацией и удивляя аборигенов своей морозостойкостью. Однако никто не предложил ему более подходящей для сорокаградусных морозов обуви.

На первых порах отцу пришлось организовывать местную электростанцию (он был в ту пору помощником главного механика завода). Интересно, что прежде в посёлке электричества не было, хотя посёлок существовал при стекольном заводе. Впрочем, стекольные заводы на Руси появились задолго до электричества. Потом отец усиленно занимался электрификацией Манчажского района. За что был даже представлен к ордену Трудового Красного Знамени, но не получил его, и не потому, что не утвердили его кандидатуры – наград дали меньше, так что орден получил директор завода Гольдберг.

Гольдберг был крайне амбициозный и взрывной человек, мгновенно и легко переходивший от ярости к родственной нежности. Подчинённые его боялись. Отец мой и сам был человеком вспыльчивым и слишком самолюбивым, чтобы открыто проявлять робость или трусость, поэтому не давал директору спуска. И, видимо, мирился директор с его поведением только потому, что высоко ценил его деловые качества. Карьера отца на этом заводе складывалась весьма удачно: через девять месяцев своего там пребывания он был уже начальником цеха, через год, в декабре 1942 года – начальником основного сборочного цеха, дела в котором до него не ладились. Как-то удалось отцу переломить ситуацию. И это он считал самым большим достижением всей своей инженерной жизни.

Но как раз в пору, когда он налаживал производство в цехе, директор в разговоре с ним с глазу на глаз всё-таки из-за чего-то не сдержал ярости. Любимой его угрозой была фраза, которая порой переходила в действие: «Брони лишу! На фронт отправлю!». Её он и прокричал моему отцу. Тот

же ответил на неё так, что директор выхватил пистолет. Отец моментально сгрёб со стола бронзовую чернильницу. Оружием своим оба не воспользовались. Директор опустил пистолет и с улыбкой сказал: «Ладно, Константин. Идём обедать». И повёл своего строптивного начальника цеха в столовую, в свой отдельный директорский кабинет. Такие общие с директором трапезы считались одной из форм поощрения работника. Это отделение столовой было похоже на довоенный хороший ресторан в миниатюре: красивая мебель, свежие, накрахмаленные скатерти и салфетки, хорошие столовые приборы и посуда, еда подавалась та, что накануне заказал директор.

Вообще, работников завода кормили в столовой очень по-разному, в зависимости от должности и профессии. И, думаю: авторитарный стиль руководства Гольдберга способствовал тому, что уже к 43-му году расцвело подсобное хозяйство, и заводчане могли при желании не питаться в столовой, а получать «сухой паёк». Моим родителям в месяц полагалось полбарана, каждый же день они получали столько молока, что мы его не выпивали всей семьёй. Так что коза Марка, добродушное, смиренное существо, уже не была нужна.

Но все эти перемены к лучшему случились не враз: пришлось поголодать, ютиться в одной девятиметровой комнате.

Отцовское первое повышение расширило наши апартаменты, у нас появилась рядом с первой в бараке вторая комната – родительская спальня, она же гостиная.

Нам с Ниной это расширение ничего не дало: в хорошую погоду мы пропадали на улице («на улке», как говорили наши местные приятели), ходили в прекрасный поселковый парк, засаженный елями и лиственницами ещё до революции. Там размещался клуб с кинозалом и библиотекой. Там была высокая горка неопределённого назначения. С неё местные ребята зимой съезжали без всяких санок. (Недавно узнала, что подобные горки устраивались в XIX веке во многих парках, назывались катальными и предназначались как раз для того, чтобы съезжать с них без санок.) Там была спортивная площадка, и однажды на её турнике отец показал нам, как «крутят солнце».

Парк упирался в урему – заросли вдоль какой-то речушки, состоявшие из черёмухи и смородины, ягод с которых почему-то никто не собирал. Что было за речушкой, не знаю: это уже была зона недоступная. По вечерам и в плохую погоду мы с сестрой толклись у соседей – в комнате напротив нашей. В ней жило семейство из троих человек: отец, мать и сын, моложе меня годом, – Адик Зализняк. Пока мы вместе учились в начальной школе (то ли два, то ли три года), никто и не знал, что его зовут Андрей. Он был в классе и на улице, и дома Адиком. Правда, злые языки наших соучеников, среди них были старше его года на четыре (второгодники, третьегодники), уверяли, что в классном журнале и в каких-то ещё школьных документах он записан Адольфом. Это имя было модно в середине 30-х годов, как позднее Эдуард, но со времени войны стало ассоциироваться с

именем Гитлера, и его обладатели или их родители принялись спешно его менять. В общем, только в 1952 году я с удивлением узнала, что приятеля моего детства зовут Андреем.

Андрей Зализняк стал крупным учёным, лингвистом с мировым именем, академиком. И своим примером опроверг бытующее среди троечников мнение, что из отличников ничего путного не получается. Андрей был не просто отличником – вундеркиндом. Пошёл в школу годом позже меня – и через неделю оказался в моём втором классе, где нашими соученицами были две девушки шестнадцати лет. Школу, уже в Москве, он закончил с золотой медалью и прекрасно учился в университете, так что был отправлен с четвёртого курса учиться во Францию. Об Андрее я вспоминаю не потому, что хочу похвалиться знакомством со знаменитостью. И не потому, что на днях в «Литературной газете» обнаружила его портрет и статью о нём. На это могу только заметить: «лучше поздно, чем никогда», как и на то, что он, наконец, появился на экране телевизора, где многократно мелькают сомнительные таланты. Пример Андрея показывает, как много значит для формирования личности её семья, её предки. Не на пустом месте вырос талант этого учёного. У него были высокообразованные родители, реализовавшие, правда, свои способности в другой области – в инженерии. Но техника была модой их времени. Профессором университета был то ли его дед по матери, то ли прадед. Близкие люди на своём примере показали ему, что для того, чтобы чего-то достичь, одних способностей мало, надо много трудиться, а главное, они не препятствовали его выбору, не старались перетянуть его в сферу своей деятельности. Мне запомнился такой эпизод:

В маленькой московской комнате Зализняков в одном из крохотных домиков Тишинского переулка собралось несколько человек, работавших с родителями Андрея на Урале. В их числе были мой отец и я при нём. Бывший главный механик завода Ефим Хоц, узнав, что Андрей и его приятель предпочли инженерному делу филологию, в сердцах заметил: «Да этим бы парням по кувалде в руку дать, а не позволять им заниматься историей происхождения какого-то давно исчезнувшего ера». «У каждого своя кувалда», – сказал отец Андрея.

Училась я вместе с Андреем года два. Мы дружили, и, возвращаясь в Москву, он подарил мне свою фотографию: пятилетний мальчик на трёхколёсном велосипеде. Это единственная его у меня фотография. Впрочем, это уже другая история, хотя наша дружба восстановилась в мой московский период жизни и даже перешла к моим родителям и его маме Татьяне Константиновне, которая сыграла большую роль не только в воспитании сына, но и моём.

Семья Андрея покинула Натальинск в 44-м году вместе с заводом. Бывший «Точизмеритель» возвращался на своё прежнее место, на Сходню, тогда московский пригород. Все прежние его работники отбывали в свои оставленные жилища. Отцу тоже предлагали ехать, но он отказался: надоело терпеть самодурство директора, были какие-то проблемы там с жильём. Да и, снявшись с места, завод не ликвидировал производства в Натальинске, оно как-то перепрофилировалось, и отцу

предложили стать на этом новом предприятии главным инженером. Эта должность имела значение и для дальнейшего карьерного роста отца.

Вот только первый секретарь райкома, числивший себя в его приятелях, предупредил, что роста не будет, если тот не вступит в партию. «Вступай, Коскентин, пока я тут глава, – говорил он, – пока духовенству дана поблажка, а значит, твоё социальное происхождение не станет у тебя на пути». Предупреждение это я слышала собственными ушами, во время одного из визитов секретаря. Жили мы тогда уже не в бараке.

Кажется, ещё до переезда, до новой должности отца, которую он занял в декабре 1944 года, мы перебрались в отдельный дом. Отец именовал его коттеджем. Прежде в нём размещался ртутный цех. По правилам мирного времени после ликвидации в нём ртутного производства симпатичное деревянное здание следовало уничтожить, тем более оно было рубленным, то есть собранным из брёвен, которые и внутри дома не были обшиты, а просто оклеены бумагой. Но... во время войны такое уничтожение выглядело слишком расточительным. Дом как-то привели в порядок, и наше семейство радостно в него вселилось.

В непосредственной близости от него, на одном подворье, находился ещё один дом, где жила семья коммерческого директора. Племянник его несовершеннолетний юноша Шурик работал с моей мамой в лаборатории – единственный мужчина на весь разновозрастной женский коллектив, его любимец. И все эти женщины, несмотря на свой патриотизм, не хотели, чтобы «Шурёнка» взяли в армию... А женщины были не только разновозрастными, но имеющими и разное образование, несколько из них имело высшее, что в ту пору встречалось у женщин не часто. Работа с ними, повседневное общение много значили для мамы и в смысле приобретения профессиональных знаний и в смысле светской шлифовки.

Сотрудники лаборатории, конечно, представляли, что таит в себе наш дом, знали, что и соседний в непосредственной близости с ним строить не следовало.

Мама тоже не оставалась в неведении. Каждую неделю с помощью лакмусовой бумаги она проверяла у нас в квартире уровень ртутных паров и успокаивалась.

Мы же с Ниной попросту надрывали у подоконника импровизированные обои, бумагу, покрытую масляной краской, и доставали великолепно блестящие шарики ртути. На подоконнике они распадались на десяток-другой крохотных собратьев, куда-то укатывались. Мы доставали новые.

Когда же они оказывались в щели, прорезывающей подоконник вдоль, Нина пускала в ход спицу, вынутую из бабушкиного вязания. Прodelьвали мы всё это в своей комнате, которую делили с бабушкой, но в её отсутствие. Свои действия мы держали в тайне от взрослых и скрыли от них, что обнаружили под сеньями лужицы ртути величиной с тарелку и бутылки с зажигательной смесью. Бутылки потом вытащили наши мальчишки-одноклассники, где-то их прятали и время от

времени разбивали на пустыре у оврага. Зеленоватая жидкость растекалась по траве, дымилась-туманилась, а трава под ней становилась чёрной. И никто из взрослых нас за нашими развлечениями не застал.

Недавно услышала по телевизору передаваемую с ужасом информацию, что знаменитая ныне актриса Светлана Крючкова какое-то время жила в комнате, за стеной которой в изолированном помещении в закрытых сосудах хранилась ртуть. Сейчас люди испытывают священный трепет и перед медицинскими градусниками. Те же, кто работает с нею, его лишены и порой беспечны. Мне самой пришлось проводить с открытой ртутью опыты. Но это другая тема. Вернусь к нашему ртутному дому.

Я хорошо помню его внутреннее устройство и убранство, над которым потрудился отец. Тогда его старания носили определение: «голь на выдумки хитра», позднее они и даже в наши дни стали восприниматься новаторством. Так, в доме был встроенный шкаф-купе, отделявший родительский альков от коридора. Двери шкафа раздвигались. Занавески на окнах и в алькове висели на кольцах, перемещавшихся по металлическим штангам. В нашей комнате появились висячие книжные полки. Занавески на всех окнах были сделаны из серой саржи, некое сооружение, называемое отцом софой (вот когда сбылась мечта о диване!) обито какой-то материей защитного цвета. Отец сам сделал лампу для большой комнаты, которая именовалась у нас столовой и служила своему прямому назначению. На кухне, кроме плиты, топившейся дровами, помню только стол. Отцовские новации нам с Ниной не нравились. Нам хотелось, чтобы всё было у нас, как до войны или как у некоторых наших местных знакомых: шкафы со стеклянными дверцами, тюль на окнах или вышитые ришелье «задергушечки». Задергушечки позднее появились – мама вышила и их и накидки на подушки.

Помню обстановку в доме до мельчайших подробностей, мебель, наскоро выполненную заводскими умельцами, даже посуду: пластмассовые тарелки и алюминиевые кружки. Но не могу вспомнить вида дома со стороны улицы, не могу вспомнить, как выглядел прилегавший к нему и двору огород, где выращивались зелёные помидоры и огурцы, хотя занятие это было не из лёгких: заморозки случались и в конце июня.

Сейчас вот думаю, что улицы как таковой до прибытия в посёлок завода не существовало. Все здания построили для нужд завода: несколько бараков, несколько отдельных домов для начальства, между которыми так легкомысленно затесался ртутный цех. Новая, односторонняя улица упиралась в овраг, на другой его стороне находился хутор, где в добротных собственных домах жили работники прежнего завода, среди них уважаемые старики-стеклодувы. Какие-то частные дома располагались и на нашей стороне оврага подле старого завода. От тех довоенных времён осталось здание начальной школы, позднее для школы построили другое, больших размеров, почти рядом с нашим домом. Сохранилось на площади обезглавленное строение церкви. Его приспособили под

лабораторию. Внутри она напоминала арену цирка, объятую, словно барьером полукружьем столов.

Всё это застроенное разнокалиберными и разномастными сооружениями пространство окружали малые и большие горы, Уральские горы. Кое-где, на окоёме, они цепью уходили вдаль, синей полоской отчёркивали от горизонта небо. Они стали частью нашей жизни и лес на них – уральская тайга. Мы, Нина и я, с мамой летом в выходные дни ходили на ближнюю Копыркину гору или в мрачный тоже недалёкий лес, который назывался странно Попова перемена. Мама чаще с Ниной, чем со мной ходила дальше, к Саране, километров за семь от посёлка. Я предпочитала оставаться дома, так как очень боялась грозы и умела её предсказывать. В общем-то, это не стоило мне большого труда: перед грозой у меня болела голова и зачастую шла носом кровь, да и грозовые облака я научилась распознавать.

Походы в лес предпринимались не только как прогулка. Мы собирали грибы, которые сразу шли в пищу или солились на зиму, собирали ягоды и съедобные травы, вроде щавеля и пеканов. Что такое эти пеканы, я теперь не знаю. А вот компьютер этого слова не подчеркнул – знал. Заглянула в словарь: пекан – «южное дерево сем. ореховых», но я-то собирала траву. Думаю, это была сныть. Пеканом называлась и ещё одна трава, которую не рекомендовалось пробовать сырой: вздувались от соприкосновения с ней губы. А трубки, чтобы с их помощью стрелять горохом выходили великолепные. Недавно увидела борщевик, который повёл наступление на заброшенные садовые участки, и напомнил он мне этот самый жгучий пекан. Вообще, дети войны ели всякую всячину, растущую на приволье и неведомую современным даже деревенским их ровесникам.

Уральская природа могла обеспечить и мясом. Правда, далеко не всех. Не знаю, были ли изъяты у населения с началом войны ружья или изымались только приёмники. Во всяком случае, охотничьи ружья в посёлке, окружённом лесами, почти отсутствовали.

Отец где-то раздобыл ствол и на его основе сделал очень красивую одностволку. Не просто красивую, а истинное произведение искусства. На её щёчках, например, были выгравированы сцены охоты, ложе тоже отличалось какой-то необычной полировкой, уже не помню, чем именно.

Всё это отец сделал собственноручно. С этой одностволкой и начал охотиться, когда на заводе стали выдаваться выходные дни. Они случились до того, как подсобное хозяйство и в какой-то мере решило мясную проблему. Конечно, отец отправлялся с ружьём в тайгу не за мясом, а просто отдохнуть от войны, от завода, от семьи – четырёх разновозрастных и разнохарактерных особ женского пола – побыть хоть недолго в мужской вольнице, с байками у костра, с «рюмашечками» спирта.

Впрочем, мужское это сообщество постепенно сузилось до одного «дикого» человека – Генки Быстрова. Не помню, чем он занимался на заводе, возможно, даже не работал. Но вся наша семья знала, что он долго просидел в тюрьме за убийство. Это обстоятельство очень волновало бабушку, но её волнения никак не повлияли на странную даже с моей тогдашней точки зрения папину дружбу с таёжным охотником. Да, вспомнила: Генка, так он представлялся сам, числился официально именно охотником и неделями пропадал в лесу. Были у него и злющие гончие собаки, Цыган и Вьюга. Но он предпочитал отправляться в лес без них. Однажды в одиночестве промышлял кротов. Выкуривал их из нор дымарём, свежавал, тушки в кучку складывал для лесной живности, шкурки обрабатывал. Сидел как-то у норки и дымил. Вдруг за его спиной кто-то громко чихнул. Оглянулся – медведь, тоже сидит и лапой дым разгоняет. «Я так испугался, – рассказывал Генка, – что и дымаря из рук выпустить не могу, продолжаю его, как гармошку, сводить, разводить. Медведь ещё раз чихнул, вскочил и дал дёру. Тут только я догадался, что это мой иждивенец. Он всё это время тушками кормился. Знал, что я для него мясо добываю, может, и раньше за моей спиной сидел, да не чихал». Но и этот случай не заставил Генку брать с собой собак.

Почему-то он и мой отец предпочитали для отдыха охотиться на птиц: тетеревов, рябчиков, уток. Отец грезил глухаринной охотой. Мечта его осуществилась: он, кажется, уже после войны убил глухаря. Ну а в ту пору, когда эта всяческая пернатая дичь была для нас мясом, главными его трофеями оказывались тетерева. Он самостоятельно шил для охоты на них чучела. (Кстати, в первые военные годы появилась у нас и швейная машинка, приобретенный на базаре металлолом, который отцу удалось реанимировать.) Чучела делались максимально похожими на птиц, будь то тря-

пичное чучело тетерева или деревянное утки. Пернатые не только послужили нам пищей, благодаря им появились у нас настоящие перовые подушки вместо ватных, полученных на заводе.

Превращала охотничьи трофеи отца в перо и мясо бабушка. У неё был опыт. Надо сказать, что до войны хозяйки не покупали тушек домашних птиц. Предпочитали приобретать их живыми на базаре и самостоятельно с ними расправляться. Бабушка Ванда самостоятельно лишить жизни несчастное приобретение не могла и несла курицу или петуха к мяснику... Но не буду вдаваться в подробности. Мой же опыт употребления в пищу диких пернатых опровергает представление о том, что мясо рябчиков самый возжеланный деликатес:

Ешь ананасы

И рябчиков жуй...

У рябчиков мясо жёсткое и без кулинарных ухищрений невкусное. Бабушка делала из него паштет. Самое же вкусное мясо утки. Но было время, радовались мы и куличкам, и диким голубям, и даже скворцов попробовали...

Уходить далеко от дома в тайгу было, конечно, опасно. Зимой даже в посёлок забредали волки и ловили зазевавшихся собак. Как-то мы – мама, Нина и я – пошли на Копыркину гору за земляникой. Росла там и дикая карликовая вишня, но она ещё не поспела, да и мало её росло, чтобы специально за ней ходить. А земляники было много. Увлёклась я её сбором и о всяких лесных опасностях забыла, да и считалось, что их нет на Копыркиной горе: мои одноклассники на неё без взрослых ходили. Змей там уж точно не было. Вышла наша троица на лесную тропинку – и тут путь нам преградила большая красивая собака, овчарка. Стоит метрах в пяти от нас, не лает, но и хвостом не виляет. И мы остановились. Собака продолжала внимательно и спокойно смотреть на нас. В её взгляде не было угрозы, но и приязни тоже не было. Мама сказала просительно: «Ну, Шарик,пусти нас»,– и свистнула. Собака повернулась и неспешно шагнула в кусты. Но мама повела нас не дальше по тропинке, а назад, домой. Потом она рассказывала, что эту огромную полную достоинства собаку назвала Шариком с испугу, первым пришедшим на ум собачьим именем, когда же собака двинулась в кусты, поняла: это матерый волк. Но и встреча с большой злой собакой могла кончиться печально.

Папа рассказывал, что как-то за ним и Генкой следила рысь, видимо, из любопытства. Рыси на людей не охотятся, но всё-таки случается, на них нападают сверху, а потому таёжные охотники там, где рысей много, носят на спине специальные копыя. В общем, все эти рассказы отравляли мне наши походы в лес. В Поповой перемене, куда мы ходили в его мрачную сень за груздями и кислой костяникой, я немного отстала от мамы и державшейся рядом с ней Нины и вдруг увидела



на стволе ели кошечку. Она, наверное, собиралась спуститься на землю, но, заметив меня, остановилась, прижалась к стволу и принялась рассматривать. «Рысёнок, – догадалась я, – значит, тут рядом где-то рысь». Не теряя времени даром, я бросилась к маме и пролепетала, чтобы её не напугать: «Там такая кошечка маленькая». – «Да это же белка!» – засмеялась мама. Я потом не раз, вспоминая этот случай, сопоставляла мою «кошечку» с белками – общими у них были только кисточки на ушах.

Но закончу свой экскурс в дикую природу, вернусь к нашему коттеджу.

Война близилась к концу. Однажды, вскочив из коридора в большую комнату, я увидела сидящего в ней за столом человека в нижней солдатской рубашке с бабушкиным кожушком на плечах (теплом нас во время войны баловало только лето). Нижняя рубашка и кожушок – не гостевая одежда, не для посторонних. Это был кто-то свой, родной. Но кто? Не успела ничего решить, как очутилась в руках незнакомца – и сразу узнала его, по рукам. Дядя Жорж! Да, он заехал к нам из Омска по дороге на фронт. В Омске он преподавал в танковом училище, вёл там практику вождения как танкист-механик. Он побыл у нас недолго, но много успел рассказать о своей службе в училище, об Омске, заинтересовать меня этим городом, а главное – сообщил, что бабушка Ванда жива и можно писать ей письма.

Удивительное дело: почта во время войны работала. Пусть письма просматривала военная цензура, но они приходили. Вскоре и от бабушки пришло письмо.

Как и до войны бабушка писала не сама, так писать она и не выучилась, хотя для этого было у неё времени предостаточно: дожила она до 94 лет. Тогда же, в 44-ом ей было 54 года. Через десять лет она будет удивлять меня и моих соучениц в Москве своими наимоднейшими нарядами. Одним из них был шёлковый гофрированный пыльник голубого цвета, о котором мы только мечтали. Был он дорог для большинства из нас, а у кого и были на него деньги, тот не мог его «достать». Тогда всё модное не покупали, а «доставали». Бабушка в этом пыльнике демонстрировала свою состоятельность, независимость от собственных детей и предприимчивость. Как раз последнему качеству она и обязана была выживанием во время оккупации, преуспеванием после войны. Она занималась спекуляцией. Теперь в обиходе нет такого термина. После войны за эту деятельность можно было попасть в тюрьму, подвергнуться штрафу, порицанию. Во время же войны этот бизнес, как называется такой род предпринимательства нынче, выглядел так: бабушка с какими-то вещами отправлялась в сёла, выменивала вещи на продукты, эти продукты в Житомире опять обменивала на вещи с выгодой для себя и с вещами отправлялась в сёла вновь. Надо добавить к этому, что автобусы между сёлами и городом не ходили. Война к этим трудностям добавляла разных опасностей. Житомир был оккупирован 9 июля 1941 года и находился в оккупации по 31 декабря 1943 года. Немцы для своих соплеменников, тех, кто по паспорту числился немцем, назначили какие-то

льготы, в том числе выдавали паёк. Но предусмотрительная бабушка от него мудро отказалась. Однако согласилась стать домработницей у немецкого полковника. Он с семьёй (гражданской женой, чешкой, и её семнадцатилетним сыном) разместился в особняке Бучёвских, бабушкиных приятелей. Те порекомендовали квартирантам бабушку в качестве домоправительницы как отличную хозяйку, знающую к тому же немецкий язык.

Квартиранты оказались странными. Полковник позволил бабушке слушать приёмник, рассказывал ей правду о положении на фронте и желал, чтобы после «ужасной войны» она встретила своих детей. Причём он знал, что её сын – танкист. Его жена, которая постоянно уезжала то в Винницу, то в Ровно, дарила бабушке свои элегантные вещи, отнюдь не обноски. Как память о ней бабушка хранила её сумочку (сноса ей не было), сделанную из крокодиловой кожи. (Я видела эту кожу в изделии, на сумочке, в первый и последний раз.)

Мальчишка в этой семье слонялся без дела, искал развлечений. Как-то его затянули на одну квартиру, «в салон», как говорила бабушка, где на самом деле пребывало «подпольное гестапо». Там мальчишка сболтнул что-то лишнее, и его мать арестовали в одном из посещаемых ею городов, а потом и повесили как партизанку. Полковник, узнав об этом, застрелился.

Бабушку отпустили с миром, не пострадали и хозяева – Бучёвские.

Но репрессий бабушка не избежала уже после войны. Её посадили в тюрьму вместе с другими горожанами немецкой национальности, остававшимися в оккупации, и намеревались их депортировать, кажется, в Казахстан. Уже дядя вернулся тогда с фронта и носил бабушке передачи. Потом постановление о депортации было кем-то отменено, кем-то оно и принималось. Кем-то! Пострадавшие винули какого-то местного начальника, еврея, у которого погибла вся семья. Бабушка отмечала, что в городе во время оккупации очень развилось доносительство, и зачастую оккупантам приходилось действовать, реагируя на «сигналы» снизу. В качестве примера она приводила судьбу несчастной старой еврейки. Та какое-то время копалась в мусорных ящиках на глазах у немцев, которым до неё не было решительно никакого дела, но кто-то «сигнализировал» – и старуху «убрали».

О доносительстве, существовавшем в Одессе во время оккупации, упоминала и бабушкина двоюродная сестра по матери, тётя Шура. Она оставалась в городе, но репрессиям после войны не подвергалась, поскольку носила фамилию Жукова и по паспорту значилась русской. Была настолько вне всяких подозрений, что работала кем-то вроде кастелянши или даже домоправительницы у маршала Жукова, когда он находился в Одессе, и очень голодала на этом, казалось бы, хлебном месте. При дворе маршала был заведен порядок, при каком никто из прислуги не смел пользоваться продуктами с хозяйского стола. Все остатки пищи, даже нетронутые, отправлялись в помойку. Но маршал почему пребывал в неведении относительно материального положения своей обслуги и, встретив нашу тётю Шуру, бледную и худую, неизменно рекомендовал ей лучше питаться.

Но я отступила от хронологической формы повествования. Все эти подробности бабушкиной военной жизни я узнала не от дяди и не из бабушкиных писем, написанных чужой рукой. Всё это мне бабушка рассказала сама через много лет. Пока же дядя отправился куда-то на фронт, линия которого уже, кажется, оставила нашу страну.

Отец стал главным инженером нового предприятия, где оставался стекольный цех со старой гутой. Директором сделался бывший начальник этого цеха и прежний давнишний работник отбывшего завода. Амбиций у него тоже хватало, но с отцом они как-то ладили, отмечали семейно праздники, ездили с семьями на пикники по старинке, как в давние времена, когда завод принадлежал какому-то хозяину, то есть на лошадях. У каждого было по две прикреплённые лошади. У директора – Соколик и Мудрый, у отца – Гришка и Полька.

Гришка – рыжий, чрезвычайно резвый мерин, преисполненный духа соревнования, готовый ко-стьюм лечь, лишь бы не дать себя обогнать, и затевавший самостоятельно эти самые соревнования. Полька – тоже рыжая, побывавшая на фронте кобыла, хорошей ездовой породы, приученная к верховой езде. Мне пришлось на ней немного поездить. Удовольствия от этого я не получила: высоко, неудобно сидеть, страшно.

Отец, мечтавший иметь сына-компаньона, хотел навязать эту роль мне: учил ездить верхом, стрелять, приобщал к производству. Первые две его затеи не увенчались успехом. Стрельба мне тоже не понравилась. Он обзавёлся ещё одним ружьём – бельгийской двуствольной безкурковкой и намеревался отдать мне своё миленькое ружьецо. Но и оно больно отдавало мне в плечо, оглушитель-лен был звук выстрела. Когда же мы подстрелили нарядную, изящную сойку и смертельно раненая она превратилась в жалкий серый комочек, я почувствовала к стрельбе, тем более к охоте, отвращение на всю жизнь. Но, кажется, это событие случилось уже после войны.

После войны родители решили, что нам тоже нужно оставить Натальинск. Хотя и были они очарованы природой Урала, но дальше жить в посёлке значило – отправить дочерей учиться в город Красноуфимск, за двадцать километров (при гужевом транспорте) или в райцентр Манчаж. Натальинск же только-только обзавёлся семилеткой. По тому времени, надо сказать, это было достижение, так как обязательное образование тогда было начальным, то есть четырёхлетним. Наверное, существовали у родителей ещё какие-то соображения не оставаться на Урале: климат, например, отдалённость от бабушки Ванды.

Кстати, вскоре после устоявшейся с нею маминой переписки бабушка отправила нам посылку. Посылка дошла, и нюхать её на почту сбежалось полпосёлка. В посылке оказались яблоки, каких прежде многие и не видели. Ведь росли-то только там ранетки. Два местных энтузиаста – старый поселковый фельдшер и председатель соседнего колхоза – пытались развести морозостойкую по-

роду яблонь. Фельдшер добился того, что яблочки у него получились величиной с абрикос, председатель своих достижений не демонстрировал: его колхозный экспериментальный сад находился на Копыркиной горе в лесу и хорошо охранялся. За сторожевую собаку этого сада мама и приняла сначала волка. Кажется, всем довелось житомирские яблоки только понюхать: они не выдержали дороги.

В общем, отец стал хлопотать о переводе, а потом и выбирать место нашего переселения. По прошествии времени мне стало казаться, что выбор он сделал не самый лучший. Ему предложили подмосковные Люберцы, Алушту и Моршанск. В Люберцах семью опять ждал полуподвал. Что-то много их было в то довоенное и послевоенное десятилетие. Алушта вызвала опасение страшными последствиями военных лет: то и дело там находили снаряды, гранаты, мины. Моршанск же очаровал отца местным базаром, изобилующим продуктами: маслом, мясом и красными помидорами. Помидоров отец не любил: не привык к ним. В его детстве они даже на Украине были маленькими и невзрачными, употреблялись только для заправки борща. С тех пор селекционеры немало потрудились, чтобы вывести иные сорта, но их ухищрения прошли как-то мимо него. Но тут, на моршанском базаре, помидоры впечатляли и величиной, и краснотой аппетитной спелости. На Урале они становились красными, лишь побывав в валенках. Солили зелёные, да и те выращивали со всяческими ухищрениями вроде надеваемых на них стеклянных банок или бумажных колпаков. Похоже, что моршанское изобилие в папиной передаче убедило и маму, и бабушку в том, что надо туда, в этот Моршанск, поскорее перебираться.

Мы уже сидели на чемоданах, когда в посёлке началась эпидемия сыпного тифа. Странно, что она не случилась раньше. Вши никого не обходили всё военное и послевоенное время. Боролись с ними примитивными средствами, а ведь именно они переносчики сыпного тифа.

Заболела моя классная руководительница, девушка, недавно окончившая Свердловский учительский институт и страшно скучавшая в посёлке. Говорили, что её остригли наголо, а у неё были такие прекрасные волосы, её гордость и, пожалуй, единственное украшение. Школу закрыли на карантин. Вот-вот должны были объявить карантин во всём посёлке. Мы успели до него уехать, но тревога не покидала нас: могли ведь уже заразиться и заболеть в дороге. Обошлось.

В Моршанск приехали в осеннюю распутицу. На пути нашего следования к нему уже установилась зима. Во время пересадки в Казани мы прогулялись вокруг кремля по скрипучему снегу, настоящий снег шёл и в Пензе. Здесь же, в Моршанске, каких-то пятисот метров, отделявших посёлок от собственно города, превратились в густое чёрное месиво, в каком вязла нога. Как обстояло дело с грязью в самом городе, мы сразу не узнали, так как посёлок оказался вблизи от станции. Привезли нас не в нашу квартиру, а в старую квартиру директора, так как в новом доме, предназначенном заводскому руководству, ещё шёл ремонт.

При знакомстве с директорским семейством (сам директор Владимир Филиппович Решитько, его жена Елена Васильевна, мать Надежда Степановна, сын Владимир и племянник Леонид) бабушка и отец выяснили, что и раньше членов обоих семейств сводила судьба. У бабушек оказались общие знакомые, как уже говорилось, папа учился вместе с отцом племянника (мальчишки примерно моего возраста) в институте, знал и его мать. В общем, когда мы все вскоре обосновались в разных концах большого дома (его середину заняла семья коммерческого директора, так тогда называлась должность заместителя директора по коммерческой, или хозяйственной части), то чувствовали себя едва ли не родственниками.

Лёня вызывался проводить меня в школу, где учился сам классом ниже. Школа располагалась в центре города и значилась не городской, а железнодорожной. Всего же в городе вместе с нею было шесть школ, в их числе ещё начальная железнодорожная, куда отправилась Нина. Оказалась она в одном классе со своими соседями по дому, Вовой и Ниной, дочерью коммерческого директора. Ну а мне досталась неожиданно-негаданно роль Лёниной сестры. То ли он так объяснил наши отношения мальчишкам-пятиклассникам, то ли они сами решили, что я его сестра. Так или иначе, настала пора, по их мнению, свести с ним счёты, то есть попросту отколотить «сестрёнку» после школы, благо «братца» поблизости почему-то не предвиделось. «Братец» никак не вписывался в их жизнь мальчишек Барашинской слободы и то и дело норовил вырваться в лидеры. И были у него для этого основания. Побывал в оккупации, значит, знал войну не понаслышке, много читал, а потому всяких историй мог рассказать множество и вдобавок, а может, это было главное – имел очень крепкий нос, а потому всяческие поединки «до первой крови» решались в его пользу. У «сестрёнки» нос был слабоват, но об этом мальчишки не знали, как не знали и того, что пай-девочка на вид она становилась отчаянной драчуньей, когда её задевали.

Тактиками мальчишки оказались никудышными: набросились на меня прямо на школьном крыльце. Пришлось мне прижаться к стене и отбиваться портфелем, пока не подоспела подмога в лице старшей пионервожатой. Но, видимо, я выдержала испытание, больше они меня не трогали. Да и не было позже им резона со мной портить отношения: зачастую мне приходилось решать во время перемен Лёниным одноклассникам задачи, то домашнее задание, то контрольную. Да и что бы там ни говорили и писали об отличниках, в школе они пользуются уважением. И статус учебного заведения на раскрытие способностей ученика, на мой взгляд, оказывает не столь уж большое влияние. Доказательством тому может служить пример Зализняка, оставшегося отличником в московской школе, да и мой собственный. Когда меня привёл отец устраивать в железнодорожную школу, учительский коллектив которой гордился тем, что подчиняется непосредственно Москве, то завуч школы, рассматривая мой табель, глубокомысленно заметила, предупредила отца: «Ну в нашей школе она так учиться не будет», – и ошиблась... Ошибались насчёт выпускников провинциальных школ и высокомерные столичные вузовские преподаватели: отличники из Моршанска,

Кадома и Пронска продолжали хорошо учиться и в престижном московском вузе, МАТИ, конкурс в который среди медалистов был пять человек на место.

Коснулась своих учебных дел потому, что они никогда не были безразличны моим родителям. Отец принимал в моей школьной учёбе самое деятельное участие: бывало, до глубокой ночи решал со мной задачи, делал однажды чучело утки. Получил класс такое нелепое задание от учительницы биологии, которую все мы боялись и старались все её требования беспрекословно выполнять. На этот раз задание оказалось выше наших возможностей. Только я принесла злосчастную утку, да одна девочка первой предъявила какое-то перо. «Ты что, из подушки его вынула?» – возмутилась учительница и приготовилась дальше буйствовать, и тут её любимый ученик предъявил мою утку. Учительница чуть не растаяла от умиления и едва пришла в себя, узнав, что утка не его. Но буря, готовая разразиться над классом миновала. Ради этого стоило нам с отцом ходить на базар покупать дикого селезня, отцу свежевать его и так далее. Короче, я сама чучела не делала, а лишь присутствовала при его изготовлении.

Коснусь родительских методов нашего с Ниной воспитания. Как-то она заметила, что её вообще не воспитывали, и она воспиталась сама. Да, нам специально не читали прописных истин, а воспитывали на собственном примере, на образе жизни в семье. «Что такое хорошо, что такое плохо», внушала бабушка с её неукоснительным следованием правилам приличия. Мама обучала нас рукоделию и правилам личной гигиены, которые не так-то просто было соблюдать, когда «все удобства» до конца 50-х годов у нас были во дворе.

Прибегали ли наши воспитатели к наказаниям? В общем-то, не было причин нас наказывать: учились мы хорошо и вели себя не хуже. Правда, Нина иногда в отрочестве уподоблялась мальчишкам и не могла удержаться от шалостей. «Она тогда была похожа на мальчика, который был похож на девочку», – такое определение я недавно услышала. Мне запомнились лишь две, впрочем, несостоявшиеся родительские репрессии. Отец в ответ на Нинины пререкания пригрозил ей: «Вот дам тебе по губам так, что прикипишь!» Почему «прикипишь», как? Наверное, из-за непонятности и запомнилась мне эта угроза. Мама гонялась за мной с поленом, взятым у печки, по нашим четырём комнатам в старом моршанском доме. За ней бежала бабушка и кричала: «Женя, уймись!»

Я была виновата: засунула своё грязное бельё за сундук, а не выстирала. Мама по своей наивности полагала, что я его стираю сама. На самом же деле стирала всегда бабушка, хотя я её об этом и не просила, – просто оставляла там свои грязные вещички, чтобы потом выстирать, и бабушка всегда опережала меня. А тут мы обе не успели. Но в оправдание себе замечу, что стирка даже малая была делом отнюдь не простым. Воды в доме не было, греть её приходилось на керогазе или плите.

Большая же стирка вообще представляла собой настоящее событие. Мама сама не стирала. Стиральные машины ещё не вошли в наш быт. Приходила большая рыжая женщина и на целый день занимала кухню. Целый день пылала плита, на которой в большом специальном баке, выварке,

кипятилось бельё. Плита была прожорлива, и к ней то и дело подносились дрова. Кстати, одно время пилили и кололи дрова у нас во дворе пленные немцы. Было это в первый год или в два первых года нашего пребывания в Моршанске. Немцы тогда использовались на заводе как разнорабочие. Я старалась не попадаться им на глаза: почему-то мне было стыдно с ними встречаться, такое же чувство стыда я испытала, когда после кражи в нашем доме милиционеры привели к нам ворюшку и усадили его на крыльце. Мне было очень стыдно проходить мимо него.

А немцы, увидев из коридора стоящую в гостиной ёлку, испытали потрясение и попросили по-немецки разрешения её посмотреть. Мама разрешила, и они стояли у дверей и смотрели на сосну, исполняющую в Моршанске роль ёлки, как на чудо, как на нечто родное, и у одного из-под очков катились слёзы. И у меня тоже покатались слёзы от стыда.

Папа потом рассказал, что немец в очках – барон, что до войны он преподавал в институте.

Мне было очень неловко, и когда приходила к нам мыть пол краснощёкая Валентина, годами пятью старше меня. Она быстро и ловко управлялась с полами в наших четырёх комнатах и объясняла, что уборка у нас – её приработка (работала она в лаборатории уборщицей): ей необходимо купить крепдешинное платье, а на зарплату на него быстро не накопишь. Крепдешинные платья, объясняла она, вода по полу тряпкой, уже у всех её деревенских ровесниц, и ей стыдно от них отставать.

Несколько слов о полах. Они были деревянными, крашеными, без ковров и половиков. Ходили по ним в домах интеллигенции, не снимая обуви, надевая на неё в ненастье галоши или боты. Домашних тапок тогда в помине не было. Тапки были как замена уличной обуви у совсем уж небеспеченных людей. Обувь в помещении снимали на Урале только татары. И вдруг оказалось, что и мои моршанские соученики к этому приучены. Пришёл в гости мой соученик и стал снимать в коридоре ботинки. Мы с сестрой в один голос принялись его останавливать, сказали, когда исчерпали все доводы, что пол у нас не чист. «И вам не стыдно это говорить? – изумился гость. – Две девчонке в доме – и грязный пол!»

Он не знал, что в доме эти девчонки ничего не делают, разве помогут бабушке ягоды почистить на варенье или вареники. Бабушка говорила нашим родителям, что придёт время – и мы нарботаемся, а пока пусть учатся.

Действительно время пришло, уже в годы учёбы в институте. Белоручками мы не стали.

Влияли мои родные и на выбор мною будущей профессии. О ней вдруг встал вопрос сразу после окончания мною седьмого класса. Дело в том, что учителя пения (их было двое, один – известный в городе пианист, другая – бывшая солистка Малого оперного театра в Ленинграде, застрявшая в Моршанске после эвакуации) рекомендовали мне учиться профессионально пению. Даже пришли с этой идеей к моим родителям, уверяли, что у меня колоратурное сопрано. По их мнению, мне следовало ехать в Саратов, чтобы поступить сначала в музыкальное училище, а потом – в консер-

ваторию. Родители этой идеи не поддержали. Они очень осторожно и недоверчиво относились к творческим способностям своих дочерей. В мои вокальные способности едва ли поверили. Мою тягу к музыке заглушили. Когда мы приехали в Моршанск, для меня открылись возможности заниматься музыкой. В городе ещё живы были старые пианистки, дававшие за гроши уроки. Нужно было лишь обзавестись собственным инструментом. Продавался рояль. На него имелась деньги, для него имелось место в нашей четырёхкомнатной квартире. Родители засомневались: поздно-де учиться в тринадцать лет. Поздно, чтобы стать профессиональной пианисткой, но чтобы музицировать дома, время ещё не было упущено. В результате через несколько дней деньги благодаря реформе пропали. Я смогла осуществить свою мечту лет в тридцать, купила пианино, но играть так и не научилась.

Перспектива же ехать в Саратов меня не соблазняла. Пела я без большого удовольствия и успеха со своим колоратурным сопрано и классическим репертуаром не имела, в отличие от некой старшеклассницы, которая исполняла популярную песенку «Хороши весной в саду цветочки», принимавшуюся на бис.

К десятому классу я стала помышлять о драматической сцене. Тут уж отговаривать принялась бабушка Дуня, стала просвещать меня насчёт закулисных интриг и своеволия режиссёров, без особого расположения которых успеха в театре не добиться. Все эти сведения, перешедшие в наставления, были почерпнуты бабушкой из каких-то дореволюционных книг и едва ли имели место в советской действительности.

Отец мечтал видеть меня инженером, продолжателем традиции, который пойдёт по инженерному пути дальше него, станет успешнее.

Прав оказался секретарь райкома: отцовский карьерный рост прекратился – не хватало партийного билета. Отец дважды пытался вступить в партию, чтобы не быть «белой вороной» (не карьеры ради!), не чувствовать себя изгоем. Его принимали оба раза на общем заводском собрании и не утверждали на заседании бюро райкома. Во второй раз не утвердили незадолго до смерти Сталина. Кто-то припомнил какое-то недостаточно уважительное его высказывание в адрес вождя, какую-то оговорку во время торжественного вечера, сделанную им якобы умышленно. Это не было вымыслом, и отца неприятно поразило то, что какой-то его сослуживец специально следит за ним и доносит в райком, а там всю эту чепуху принимают всерьёз, более того – именно там установили за ним слежку. После смерти Сталина отца пригласили в райком и предложили вступить в партию. Но на этот раз он от чести такой отказался, сказал, что за столь короткое время сам не успел измениться, да и они тоже... В общем, выше главного инженера шагнуть по карьерной лестнице ему было не суждено. А жаль: он обладал инженерным талантом и любил инженерное дело смолоду, да что там смолоду – с детства. И коллеги его талант чувствовали, признавали. Его дважды приглашали на работу в знаменитый институт сварки Патона. Отказался – посчитал, что не сможет



сработаться с украинцами: у собратьев слишком большой гонор, не перебрался и в Рязань, где тогда уже жила я и работала в Проектно-технологическом институте, куда и он собрался было устроиться на должность главного инженера проекта. Ему давали квартиру, правда, однокомнатную, маму принимали в лабораторию завода, на территории которого располагался институт, но на работу им предстояло ездить на троллейбусе. Все эти «но» перевесили – мои родители остались в Моршанске, отец – до самой смерти.

Первым же моршанским летом родители с Ниной отправились в Житомир.

После войны бабушка продолжала жить одна. Дядя женился и ушёл в семью жены. И это больно бабушку задело. Она не простила невестке вероломства. Будучи невестой, в последний год войны и дальше, до дядиного возвращения, та всячески демонстрировала бабушке своё к ней особое расположение, сделалась едва ли не её подружкой: они вместе гуляли, ходили в кино. А ставши родственницами, разошлись. Я наблюдала их вместе несколько раз. Это были абсолютно разные женщины – по образованию, темпераменту, мировоззрению. Дядя не мог их примирить – не был в состоянии, да и сам в духовном плане не подходил своей жене. Учительница украинского языка по профессии (русская по национальности), она была, что называется, «тонной дамой», женщиной чрезвычайно манерной и приторно вежливой. Дядя же представлял собой «парня из нашего города». Был такой фильм «Парень из нашего города» с мужиковатым актёром Крючковым в главной роли. Вот мой дядя и был таким – мужиковатым, разухабистым, да ещё с одесскими манерами.

В Житомире почему-то очень силён был одесский дух.

Во время этого первого послевоенного гостевания Красногорских в Житомире в семье Елениных уже был новый член – примерно полуторагодовалый мальчик, которого назвали Георгием. Нина с восторгом рассказывала о нём, о его первых словах: кроме обычных наименований родственников, он говорил ещё «лампа» и «луна». Никаких больше подробностей об этом путешествии я не запомнила.

Мы вдвоём с бабушкой Дуней хозяйствовали в отсутствие родителей в нашей большой квартире, и я очень боялась ночей. Окна в квартире большие, с двух сторон, да ещё дверь на террасу, соседи за толстенной стеной – кричи – не услышат. Бандитизма в Моршанске не было, но квартирные кражи случались. У нас тоже случилась, но уже после того, как приехали родители и не в тот год.

В том же, 1948 году, наверное, до житомирского путешествия отец взял меня с собой в Москву, когда поехал туда в одну из командировок. Были летние каникулы. Москва поразила меня праздничной чистотой, видимым отсутствием разрушений, вызванных войной.

Отец составил отличную туристическую программу, которой бы позавидовали и иностранные туристы. Именно тогда мы с ним увидели американцев вблизи. Они сидели рядом с нами в Большом театре на дневном спектакле «Лебединого озера». Были это, конечно, не туристы, а скорее, работ-

ники посольства. То, что они американцы, а не англичане, мы определили по их чрезвычайно вольному на наш взгляд поведению. Они, например, сидели, положив ногу на ручку кресла. Встречали мы потом иностранцев и в музее Изобразительных искусств. Не помню, было ли это в тот раз или позднее. С отцом я побывала и Третьяковской галерее, где он повёл меня в отдел иконописи и объяснял сюжеты икон, как, впрочем, и картин, написанных на библейские темы.

Побывали мы и в его любимом Малом театре, где смотрели «Доходное место», а позднее – «Пигмалиона».

Мои родители были театрами. До войны, как я уже вспоминала, они ездили в Ленинград на спектакли. Сразу после войны или в конце её поехали в Свердловск и там ходили в оперный театр. В Моршанске не пропускали ни одного гастрольного спектакля.

Отец, конечно, бывал в театрах чаще, потому что ездил в командировки. Он умел развлекаться и, видимо, развлекать своих спутниц. Во всяком случае, когда такой спутницей стала в юности я, мне было с ним интересно и весело. Его манеру поведения я стала ждать от своих поклонников и постоянно их с ним сравнивала. Сравнения были не в пользу молодых людей, и их ждала отставка.

Надо сказать, что мнение отца относительно моих приятелей очень много для меня значило. Он ничего не имел против моих романтических отношений даже в школе, но с ребятами близкими мне по возрасту. Когда же я в девятом классе, в семнадцать лет, пошла в театр с молодым человеком, работавшим в школе лаборантом физического кабинета и учившемся в школе взрослых в десятом классе, которого он не успел кончить из-за войны – пошёл в армию, отец устроил мне головомойку. Потребовал, чтобы это было в последний раз, причём заметил, что ничего не имеет против моих дружеских отношений с одноклассниками, но общаться с 24-летним мужчиной не позволит, поскольку знает, что у таких молодцев на уме. Я подчинилась с большим облегчением: молодой человек мне не нравился, хотя мне импонировала его заинтересованность мною из-за его взрослости как раз и то ещё, что он был сыном моей любимой, увы, уже тогда покойной учительницы литературы, которая якобы перед смертью рекомендовала ему познакомиться со мной.

Из-за отца, в общем-то, я дала отставку и другому молодому человеку, из моих школьных друзей. Тогда я училась в институте и жила на квартире. Мой же друг уже окончил лётное училище, получил назначение в Рязань и стал время от времени навещать ко мне в Москву. Под отцовским и его влиянием я выбрала авиационно-технологический институт. В первые полтора года учёбы я жила на квартире в самом центре Москвы, в Дегтярном переулке у дамы с большими претензиями и странностями. Ей было не более сорока лет, но мне она казалась если не старой, то очень пожилой, а её желание выйти замуж – бесперспективным до смешного. Познакомились они с моим отцом в пору её замужества. Моя хозяйка (звали её Станислава Алексеевна, и она очень гордилась своим польским происхождением) тогда работала в Главке, куда отец приезжал в командировку. Потом её муж, какой-то ответственный работник, как тогда именовались крупные чиновники, ско-

ропостижно умер. Вдова осталась без средств к существованию и вынуждена была сдавать «угол», потому что вдруг бросила работу и принялась ходить по поликлиникам, выискивая у себя болезни, чтобы одна из них не застала её врасплох, как это было с мужем. К этому чудачеству добавилось много разных мелких, носивших бытовой характер, вроде чулок в резинку и синей шляпки с вуалью, надеваемых в июньскую жару. Возможно, впрочем, что и в эту пору у неё действительно продолжали мерзнуть ноги и голова, но выглядело это одеяние да ещё в сочетании с крепдешинным платьем нелепо.

Станислава Алексеевна не имела ничего против того, чтобы ко мне приходили гости, особенно мужского пола. Тогда у неё буквально загорались великолепные темно-серые глаза. Мой лётчик ей особенно нравился. Как-то он заявился поздней осенью сразу после прихода моего отца. Хозяйка радостно защебетала, приветствуя его. Он отвечал какими-то комплиментами, снимая шинель и намереваясь повесить её на вешалку у дверей, шутливо отметил, что фуражку положить некуда: полка вешалки была заставлена банками с вареньем. Хозяйка, протянула руку за фуражкой – и тут вешалка с нашей одеждой (моё и отца пальто, шинель) рухнула. Банки разбились, варенье потекло на одежду. Станислава Алексеевна заголосила: погиб её труд, погибли деньги, которые ей пришлось уплатить за сахар, да разве можно было такую тяжеленную шинель вешать. Стенания прекратил отец. «Сколько стоило ваше варенье? – спросил он и тут же возместил убыток. Хозяйка моментально развеселилась и опять защебетала.

«Зря это Константин Никитич, – говорил лётчик, похохатывая, когда мы вдвоём отмывали одежду в ванной. – Кто ставит на вешалку стеклянные банки? Хорошо, что мы не порезались. Да и не одна Станислава в убытке оказалась...» Он в принципе был прав, но поступок отца в моём понимании перевешивал эту правоту и обнаруживал меркантильность моего друга. Замечу, что, будучи тогда всего лейтенантом, он получал больше главного инженера моршанского «Химмаша», но оказался прижимист. Его объяснения вызвали в моей памяти ещё случай его скупости: мы втроём – отец, я и он – обедали в ресторане и, когда настало время расплачиваться, он помедлил вынуть кошелек. Сделал, правда, попытку расплатиться, но перечить не стал, когда отец предложил разделить плату. Мне тогда было неприятно, что меня мои мужчины как бы поделили пополам. Проиграл он и сравнение с моими институтскими соучениками, но это было уже сравнение интеллектов. В общем, замуж за него я не вышла, хотя прямо отец никогда против моего друга не высказывался, а время оценить его было: наша дружба-любовь началась ещё в школе.

Но был случай, когда мнение отца сыграло решающую роль в выборе моей сестры, да и сама я от этого мнения, хотя и косвенно, пострадала. А дело было так:

Я училась на четвёртом курсе, а Нина в Моршанском строительном техникуме, кажется, на третьем. Во время студенческих каникул в Моршанск съезжались студенты из разных городов. Одноклассники в это время, особенно в зимние каникулы, устраивали дружеские вечеринки. Мои одно-

классники несколько раз собирались у нас: наша квартира была самой вместительной, а мои родители самыми гостеприимными. Уходить из дома им и в голову тогда не приходило, и уединяться – тоже. Но молодёжь их присутствие не стесняло. Итак, тогда пришли две мои одноклассницы с неизвестными юношами, как я поняла, их новыми поклонниками. Среди незнакомцев особенно выделялся белокурый, красивый, высокий парень. Он улыбался мне как старой знакомой, для которой его приход – приятный сюрприз. Я смотрела на него с недоумением. «Что, не узнаёшь?» – спросил он и назвал. Я прикусила язык, чтобы не вырвалось: «Но ты же был тогда невысоким мальчишкой и ужасно картавил». В его имени Виктор и фамилии присутствовала буква «р», он произнёс её чисто. Всего один год этот юноша был моим однокашником по школе. Учился классом старше и после седьмого поступил в Моршанский строительный техникум. Учась там, приходил на наши школьные вечера, чтобы протанцевать со мной «польку» и тут же уйти. Не помню наших разговоров во время танца. «Полька» им не способствует, потому что меняются фигуры, да из-за своей картавости он не отличался разговорчивостью. Потом его призвали в армию с последнего курса, и он вдруг стал мне писать письма (да ещё на школу), почему-то фронтовые треугольнички. Я отвечала – как обидеть солдата! После того, как я поступила в институт, переписка наша оборвалась, и я о шустром мальчишке с белым чубом не вспоминала. Впрочем, чуб был светло-пепельный, и в школе его обладателя называли Седой.

На этой вечеринке он стал центром внимания: рассказывал интересные истории из своей армейской жизни. В армии ему пришлось прослужить дольше положенного срока, так как воинское соединение (не знаю, точно ли это определение) пропустило на территорию нашей страны чужой самолёт. Виктор только что вернулся из армии и собирался восстанавливаться в техникуме. Теперь уже Нина становилась его однокашницей. На правах старого знакомого он принялся помогать мне что-то уносить, приносить из столовой в кухню и в коридоре попытался обнять. Я высвободилась и сказала: «Не гони лошадей!» На что он ответил: «Подожду. Долго ждал, но дождусь – я терпеливый».

После вечеринки отец, уже лёжа в постели, пригласил меня (кажется, Нина тоже пришла) и стал расспрашивать о гостях и неожиданно расхвалил Виктора. Этой похвалы оказалось достаточно для того, чтобы на следующий день я отправилась на свидание с этим настойчивым и терпеливым юношей. Он позвонил по телефону, чего прежде никогда не делал, хотя, как оказалось, номер телефона знал давным-давно. Итак, он перешёл в наступление, но «лошадей не гнал». Да и тет-а-тет мы уже больше никогда не встречались. Я на этом свидании простудилась, потом уехала в институт. И опять пришло письмо – теперь на адрес института, потом общежития. Завязалась переписка. Он хорошо писал и сдабривал свои интересные умные письма объяснениями в любви.

Я отвечала регулярно, оставляя объяснения без ответа. Виктор мне нравился как личность, но так называемых «сердечных чувств» я к нему не испытывала, мало того: с содроганием думала о фи-

зическом контакте с ним и вспоминала бабушкину мотивацию её брака без любви: «мне он не был неприятен». А вот Виктор мне неприятен был. И причина этому пряталась в нашем отрочестве. О ней я не хочу сейчас распространяться. Возможно, напишу когда-нибудь рассказ. Но тем не менее терять его я не хотела и рассчитывала, что всё само собой как-то устроится, выяснится на летних каникулах. Тем более выходить замуж до окончания института я не собиралась. Но послала ему, по его просьбе, свою фотографию, для чего специально ходила фотографироваться. Он написал, что показал её матери, и та изрекла: «Эх, Витёк, не для тебя эта девушка – “руби дерево по плечу”». Послала опять-таки по его просьбе, пластинку с записью оперы Римского-Корсакова «Снегурочка». Виктор стал меня называть Снегурочкой. Иногда он меня приглашал на переговоры и нёс какую-то любовную чушь с лёгкой картавинкой от волнения. Это даже украшало его речь. Прислал несколько телеграмм с предложением приехать на свидание в Рязань. Денег, чтобы самому приехать ко мне в Москву у него не было, до Рязани же его бы довёз отец-машинист, водивший до неё от Моршанска поезда.

В Рязань я не поехала... Пошла как-то уже весной на переговорный пункт – поговорить с домом. К телефону подошла мама. Я обрушила на неё упрёки: что-то вы давно не пишете, узнаю о вас только от Виктора, от него получаю письма каждый день.

«Боюсь, он действует на два фронта», – сказала мама, – и кому-то из вас морочит голову, то ли тебе, то ли Нине». – «Но это несерьёзно!» – засмеялась я, подкреплённая любовными письмами и страстными призывными телеграммами. «У него – да, а у Нины – серьёзно», – ответила грустно мама и рассказала, что Виктор каждый день в последнее время провожает Нину домой, что та призналась домашним, что любит его и намерена выйти за него замуж.

Ну что ж, решила я, придётся отступить во имя счастья сестры и, смеясь, пошла от телеграфа по улице Горького, не разбирая дороги – прямо по лужам. Мне было всё-таки больно...

Между тем опять пришли два или три письма. Я их прочла и на них не ответила. Появилась ещё одна телеграмма. Опять Виктор звал меня в Рязань и предупреждал, что едва ли мы увидимся на каникулах – он уедет на всё лето на преддипломную практику. Я сгребла все письма и телеграммы и ринулась в Моршанск спасать сестру, открывать ей глаза. Теперь я уже не сомневалась, что нам обеим с ней следует от дальнейших отношений с Виктором отказаться. Или он страдает раздвоением личности, или ни меня, ни её он не любит, а преследует какую-то цель, желая войти в нашу семью.

В Моршанске собрался семейный совет. Я предъявила свои улики. Они подействовали только на родителей. Бабушка Дуня ничего не поняла, Нина рыдала и, обращаясь к папе, говорила: «Если вы не позволите выйти за него замуж, я утоплюсь. А Ирка от нечего делать вскружила ему голову. Он говорил, что его чувство к ней – какое-то наваждение».

Отец спросил меня: «Ты его любишь?» – «Нет!» – честно ответила я, моя симпатия к Виктору после его предательства исчезла. «А почему ты принимала его ухаживания?» – продолжал допрос отец. «Как сказал Оскар Уайльд, “внимание даже уроды приятно женщине”», – ответила я. «Ты не женщина, а актриса!» – разозлился отец.

В общем, я уезжала в Москву коварной оболъстительницей, вскружившей наивному юноше голову, напустившей на него наваждение. Анализировать причины этого наваждения никто не стал, когда оно бедного юношу обуяло, никто узнавать – тоже: юноши уже не было в Моршанске.

После экзаменов я не поехала домой, а отправилась в Житомир, где не была с детских лет. Там рассказала о нашем любовном треугольнике бабушке Ванде. Она стала на мою сторону и назвала Виктора «пройдисвитом» (проходимцем) и поспешила со мной в Моршанск, чтобы уберечь Нину от несчастного замужества.

Бабушке было тогда 66 лет, но выглядела она моложе и не чувствовала себя старухой. И во время нашего долгого пути нервировала меня тем, что на каждой остановке выскакивала на перрон и бежала на привокзальный базарчик. Я мчалась следом, боясь, что она отстанет от поезда. Потом выговаривала ей, а она плакала, объясняла, что хотела порадовать меня малиной или какими-то другими ягодами, которые там могли продаваться. Это, конечно, было так. Но она, к тому же, очень любила базары и в Житомире ходила на них ежедневно. Причём не только как покупатель. Дядя, который в то время был уже главным инженером музыкальной фабрики, жаловался, что она компрометирует его, стоя за прилавком с какой-нибудь ерундой: то щавелем, заквашенным ещё с осени, то какими-то сшитыми Бучёвской фартуками. Его даже в горком вызывали и просили пресечь материнское предпринимательство. Это, конечно, было не предпринимательство, а любительство. Подкармливало бабушку то, что она держала квартирантов, студентов-заочников педагогического института, приезжавших на сессии. Ни дядя, ни мама не могли полностью её обеспечить. А у бабушки потребности были отнюдь не старческими. Как я уже говорила, она любила одеться, сходить в кино или театр, в парикмахерскую и считала необходимым давать всякой обслуге чаевые. Впервые я столкнулась с её «капиталистическими» замашками в бане и была крайне удивлена, когда она одарила какую-то банщицу деньгами ни за что ни про что.

Любила бабушка и делать подарки. Тем, чем она одаривала меня в моей юности, я никогда не пользовалась и только мечтала, что когда-нибудь она догадается подарить мне больших фарфоровых слонов, стоявших у неё на комод, которых я любила с младенчества. Не помню, чтобы бабушка позволяла мне ими играть. Любила я их визуально. Лет через десять после моего визита в Житомир, о каком идёт речь, в очередной мой приезд, слонов на комод не оказалось. С замиранием сердца я справилась об их судьбе. «Да я их одной чудачке подарила, – последовал равнодушный ответ, – очень они ей нравились». Не в те руки, на мой взгляд, попала и энциклопедия Брокгауза и

Ефрона. А вот подарки, сделанные бабушкой мне в честь моего замужества, меня порадовали, и до сих пор жив необыкновенно красивый чайный сервиз, который хранит для меня память не только о бабушке, но и о Барановском заводе, о моей родине.

На родине, точнее в Житомире, я побывала в 1956 году, потом с мужем, проездом в Одессу, одна в 1963, 1966 и уже после смерти бабушки с мамой, невесткой Людой и внучкой Асей – в 1989.

Но с бабушкой я виделась чаще: она приезжала в Моршанск, а когда во время моей учёбы в институте меня там не было, заезжала ко мне в Москву, останавливаясь у своей крестницы Фаины, племянницы Бучёвских, в высотном доме на Котельнической набережной. Муж Фаины (лет на двадцать её старше) был какой-то большой шишкой. Присутствие жениных знакомых едва ли его радовало (я как-то заходила к бабушке), но с Вандой Яковлевной он держался очень уважительно, предупредительно. Сейчас вот думаю, как могла Фаина быть бабушкиной крестницей, когда бабушка считалась лютеранкой? Но сама Фаина мне себя так представила, когда мы с ней поехали бабушку встречать. Ехали мы откуда-то на метро, и я ловила устремлённые на Фаину завистливые женские взгляды: была на ней невероятной красоты светлая шуба. Любительница натуральных меховых шуб, я не удержалась и спросила, что за звери пострадали во имя этой красоты. Оказалось, что это дикая ондатра, отловленная где-то в низовьях Волги и облагороженная тем, что её ощипали.

Вспомнилась мне сейчас и ещё одна «родственная» шуба. Её купила тётя Шура, Александра Николаевна Жукова, бабушкина двоюродная сестра, при нашем участии, когда я с мужем объявилась у неё в Одессе. Чуть ли не всё пореформенное (после 1948 года) время копила она деньги на эту шубу. Шуба была из великолепного лиловато-рыжего колонка. А папа смог купить маме только колонковый, правда, очень большой воротник на пальто. Из колонка делались дорогие кисти, а тут – шуба. «Безумству храбрых поём мы песню!» Тётя Шура, как и бабушка, любила принарядиться. Бывая в Москве с бабушкой у её высокопоставленных знакомых, я удивлялась, с каким достоинством бабушка там держится: не бедная родственница – королева, снизошедшая до посещения.

Долго жила как-то бабушка и в моей семье: приехала на неопределённое время, чтобы дать мне возможность выйти на работу после декретного, годового, отпуска и понянчить правнука («Игорочка», как она его называла, «тую тихую дитину») до определения его в ясли или сад. Но произошёл какой-то сбой в наших планах. Моё место на прежней работе оказалось занято. И, погостив, бабушка уехала. Я испытала облегчение, хотя мы с мужем и предлагали ей вообще оставаться у нас жить. Изводила же она нас обоих тем, что после ужина заставляла играть с ней в карты, обижалась и даже плакала, если мы не сразу соглашались. Меня же донимала ещё и тем, что, уже улёгшись в постель и зная, что правнук только-только угомонился, громким шёпотом спрашивала из другой комнаты: «Ира, что имеем мы завтра на обед?» И, тем не менее я считала, что жить в 72

года одной негоже. Но бабушка ценила свободу – и умерла в 1984 году 23 марта в доме для престарелых.

Я как раз в это время лежала в больнице без перспектив на выздоровление. И мне кажется, что бабушка умерла за меня. Я после её смерти стала выкарабкиваться. А в конце года, 29 ноября, родилась Ася, дочь её любимого «Игорочка». Напомню, что день рождения бабушки Ванды – 1 декабря. А Игоря – 19 марта, так что не омрачила она его дня рождения своей кончиной. Надо сказать, что и я в больнице изо всех сил старалась не умереть этого числа.

В общем, живя вдали от внучек и правнуков, бабушка Ванда была очень всё-таки привязана к ним и готова на самопожертвования, хотя никогда и не нянчилась с ними, как это принято у среднестатистических бабушек. Исключение составляет разве Игорь, месяца два она с ним повозилась.

Вояж бабушки в Моршанск летом 1956 года оказался безуспешным. Нина уехала на целину, возмутитель спокойствия Виктор в городе тоже отсутствовал, да и вряд ли бабушка стала бы с ним встречаться и пытаться как-то на него повлиять, разве бы отmaterила. Да, она не чуралась крепкого словца, но прекрасно понимала, когда можно его употребить. Ушей своей взрослой дочери, её мужа и свекрови она никогда не оскорбляла. Мне же объяснила, что пристрастилась к ругани во время войны, тогда же и курить начала, но от курения сумела в мирное время избавиться, привычка же к мату оказалась сильнее. Впрочем, это была не ругань: бабушка кое-кому давала образные определения, используя непечатные выражения.

Итак, Нина и Виктор поженились в канун 1957 года. Виктор переехал к Красногорским. Я была на свадьбе и подарила невесте только-только входивший в моду капрон на кофточку, а молодым – мраморный письменный прибор, который мама тут же назвала «надгробием любви». Своего отношения к Виктору она не переменяла, но позволяла себе выступать против него только тет-а-тет со мной. Так, когда он принялся заводить подаренную раньше ему мною пластинку, она говорила с усмешкой: «Ну Виктор опять Снегурочку хоронит» или «А похоронить Снегурочку ему так и не удаётся».

Вообще, наше пребывание втроём под одной крышей смахивало на садизм. Молодые вполне могли пожить в доме родителей Виктора, хотя бы во время моего приезда. Но вроде бы Нину не устроили там бытовые условия. Дело было не в условиях, а в совершенно ином образе жизни той семьи. Состояла она в ту пору из отца Александра Васильевича Прокофьева, машиниста, матери Надежды Ивановны и близнецов лет десяти, Валерки и Зои. Были у Виктора ещё старшие брат, находившийся в тюрьме, где и он умер от туберкулёза, и сестра, работавшая в Москве. Так вот, в той семье отец между рейсами здорово пил, а пьяный расслаблялся – гонял детей и жену, сквернословил, что, конечно, для Нины было непривычно.



Наш отец, который отнюдь не был трезвенником и любил пропустить рюмочку за обедом, никогда не распускался после выпивки. И если она происходила где-то вне дома при приёме какого-то начальства, узнать об этом можно было только по его глазам: синие, они выцветали – становились голубыми. Мама в таких случаях говорила насмешливо: «У тебя, Костик, что-то глаза поголубели», – и отец тут же объяснял причину. Раза два он только терял контроль над собой. Это уже когда мы стали взрослыми и жили вне родительского дома. Мама рассказала мне о них с возмущением и огорчением. Один мне запомнился своей смешной нелепостью. После какого-то юбилея в детском саду, где была очень хлебосольная заведующая, «дама приятная во всех отношениях», которой отец симпатизировал и не мог отказаться от её угощений, он перебрал «гостеприимства» и по дороге домой на глазах у изумлённой мамы и не только её вдруг пустился в пляс прямо в луже. У меня ничего эта отцовская выходка, кроме смеха, до сих пор не вызывает. Человек «раскрепо-стился», как теперь говорят и пишут.

Смутно помнятся ещё уральские «последствия пирушки и упрёки», бабушкин огорчённый шёпот и её тайные хлопоты (отца рвало). Но всё это происходило так, чтобы дети не узнали, не поняли, в чём дело.

При нас, в нашем детстве, родители никогда не ссорились. Ссорились мама и бабушка. Папа возмущался бабушкиной опекой опять-таки, когда мы выросли. Как-то за завтраком в ответ на бабушкины наставления он с криком «Я сам уже дед!» запустил в стену стакан с чаем. Кажется, бабушка вывела его из себя своим советом теплее одеться. Это у неё был такой пунктик – боязнь, что отец простудится, и она часто выбегала следом за ним во двор с криком: «Костя, не ходи голый!» Это было смешно. Костя не позволял себе появляться на людях даже в майке, а уж демонстрировать свой обнажённый торс – тем более.

Против жены отец восстал на моей памяти только однажды: встречая кого-то из нас, на перроне раскипятился настолько, что начал кричать маме: «Разведусь! Разойдусь!» Встречаемые и встречающие отнесли к этим крикам как к смешным «выбрыкам» (существовало в нашем семейном лексиконе такое слово, означающее действия, не соответствующее норме поведения). Нина потом уже дома спросила, смеясь: «И на ком же ты, папа, женишься, разойдясь с мамой?» Отец, не задумываясь, ответил: «На Тамаре». Этот ответ меня и Нину огорчил: нам почудилась в нём предварительная обдуманность и холодный расчёт. Тамара жила в доме, который отделялся от нашего, родительского, садом. Была она моложе отца лет на двадцать, и всё у неё не ладилось с мужьями. В отличие от нашей мамы, она не славилась красотой, в образованности тоже ей уступала, но была хорошей хозяйкой. Мы её не считали женственной, но вот чем-то всё-таки она пленила нашего отца. Симпатию к ней сохранил он и во время своей длительной болезни и всегда улыбался ей совершенно искренне, когда она его навещала, не думая даже прихорашиваться перед визитом, – в домашнем халате, в белом платочке.

Надо сказать, что с болезнью отец сделался беспардонно искренним и, пока не лишился речи, мог спросить, совершенно не заботясь о том, что тот, о ком он спрашивает, может его услышать: «А это что за морда?» Но эта метаморфоза произойдёт уже при другом зяте. В бытность же Виктора он вежливо переменял к нему отношение.

При отце моя взрывоопасная для меня и бабушки и неласковая мама, не терпящая проявления «телячьих нежностей», становилась «тише воды, ниже травы». Думаю: наедине с отцом она вела себя иначе, были и ссоры у родителей, и несогласия. К тому же задолго до сцены на вокзале отец в доверительной беседе на крылечке поведал мне, что не так уж безоблачна его супружеская жизнь, что жена его не понимает, что она, увы, плохо воспитана и недостаточно образована. Да, мама уступала отцу в образованности, но сама не видела в этом угрозы для семейной жизни. Тогда время было такое: некоторые женщины, жёны выбившихся в люди мужей, были вообще малограмотными, как жена директора завода на Урале. Но время менялось, и одной сексуальности, как определяют теперь женственность, чтобы сохранить привлекательность жёнам уже не хватало. Подрастало поколение новых советских женщин: образованных, инициативных и при всём, при том красивых, умеющих себя подать, вроде бы и не будучи этим озабоченными. Такими женщинами становились собственные дочери. Мама чувствовала, что в глазах отца, несмотря на свою красоту, проигрывает с ними сравнение. Да и что касается красоты, это же величина не постоянная, и дочери отнюдь не были дурнушками. Мой давнишний приятель, школьный однокашник, вспоминая уже в более чем зрелые годы первое замужество Нины, говорил: «Я удивился, узнав, что такая красивая девчонка вышла замуж за Седого!»

«Женя, почему ты никогда не писала, что твоя дочь – красавица?» – спросила маму её подруга, увидев одну из дочерей, когда та уже стала бабушкой. «Повода не было», – ответила мама, не возразила. Действительно, повода не было писать подруге о внешности своих дочерей. Но повод всегда находился, чтобы подчеркнуть их недостатки, привить им понимание, что с личиками у них не всё в порядке. Даже, когда фотографии показывали обратное, мама говорила, что это из-за фотогеничности. А сколько насмешек выдержал мой «римско-католический» нос. Вольно или невольно, но мама, таким образом, формировала у меня заниженную самооценку. Что она думала о нас на самом деле, не знаю, но всегда очень следила за нашими нарядами, особенно любила шить мне модные платья, хотя сама наряжаться не стремилась. И принялась самоусовершенствоваться не за счёт нарядов, а за счёт самообразования. Стала много читать и при светском общении не уступала в начитанности, в знании современной литературы молодым дамам, имеющим высшее образование. И прибывшие на завод молодые специалисты – девушки преисполнились к ней симпатии и стали бывать у неё как у родственницы или закадычной подруги. Подружилась с ней и высокообразованная мать Андрея Зализняка, Татьяна Константиновна Крапивина, которая во времена их уральской молодости и работы в лаборатории дружбы с ней не водила. Пожалуй, Татьяна Кон-

стантиновна была до конца маминой жизни её единственной близкой приятельницей, хотя и жила далеко, в Москве.

В общем, мама превосходила по развитию Нинину свекровь Надежду Ивановну и своего зятя Виктора..

Между тем, живя в доме жены, Виктор окончательно лишился и расположения к нему тестя. Вообще-то отец оказался весьма терпим по отношению к своим зятям. На примере его взаимоотношений с ними я поняла, что значит мужская солидарность. В наших, моих и Нины, размолвках с мужьями он неизменно принимал их сторону, рассматривая ситуацию именно с мужской точки зрения. И окончательно разочаровался в Викторе именно потому, что тот поступил не по-мужски. Виктор сообщил ему, что собирается учиться дальше, и попросил у него материальной помощи. Отца эта просьба возмутила: он сам-то учился и работал одновременно, да и не был в то время женат. Предшествующее же этому инциденту ухаживание Виктора за сёстрами одновременно заставило его усомниться в том, что зять женился на Нине из любви, наконец-то сделав окончательный выбор.

Новая семья просуществовала недолго, года через три распалась. До этого молодые супруги пожили в Красноярске, и там у них родилась дочь, Елена. Вернулись в Моршанск. Оттуда Виктор перебрался в Рязань. И ему я обязана тем, что обосновалась в этом городе. Ко времени освоения Виктором Рязани мы с мужем покинули Омск, куда я напросилась во время распределения и где на четвёртый месяц своего пребывания в нём вышла замуж. Мои бывшие соученики по институту звали меня на авиационные заводы в Подмосковье, но муж не хотел, чтобы я восстанавливала былые молодёжные связи, и отправился в Рязань, где нашёл работу и квартиру в новом доме. Теперь дом старый, и я всё живу в той же квартире...

Своим замужеством я тоже родителей не порадовала. Дело в том, что два года мой брак не был официальным. А так называемые незаконные браки в то время порицались советской общественностью. Мой, как теперь говорится, гражданский муж или ещё неопределённое – партнёр Николай Ситников успел в пору своей комсомольской молодости на целине три месяца побыть женатым. К моменту знакомства со мной он не жил с женой уже несколько лет и не знал, где она находится.

Он понимал, что его официальная несвобода – большое препятствие для нашего сближения. Но именно это обстоятельство и заставило меня «сжечь все мосты». Я не хотела выглядеть особой с предрассудками, «артисткой», как назвал меня отец, и вынуждена была принять правила взрослой игры в любовь. Пришлось согласиться с фактом, что дружбы между взрослыми людьми разного пола не существует, а потому держать 28-летнего мужчину в чичисбеях мне долго не удастся. А терять Николая я не хотела. За короткое время он сделался для меня родным человеком в чужом

неуютном городе, поводырём в новой взрослой жизни. Он покори́л меня своей заботой, выдержал сопоставление с моим отцом, которое, конечно, я сделала. К тому же заворожил голосом.

Но, сознавая, что огорчу родителей, начав брачную жизнь без официальных бумажек, не так, как все порядочные девушки, я написала им письмо, прося у них совета, как надлежит мне поступить.

Ответила мама: когда человека любят, то ни у кого, даже у родителей, совета не спрашивают.

А что она могла ещё ответить после инцидента с Ниной, после своего раннего замужества без, так сказать, родительского благословения.

Письмо пришло уже после того, как мы стали жить с Николаем в его холостяцкой комнате на дальней от завода окраине города. Он работал на том же заводе, что и я, и кончал заочно институт. До письма мамы он познакомил меня со своими родителями, и я с ужасом обнаружила, что у него в семье пьёт не только отец, но и мать, а, напиваясь, становится безобразно буйной. Её как бы выворачивает наизнанку: из общительной, весёлой женщины, веселящей компанию шутками-прибаутками, запевающей старинные, известные мне от бабушки Дуни песни, она делается фурией. Однако и эти смотрины меня не остановили, я заручилась уверением Николая, что вместе с его родителями мы жить не будем, и успокоилась.

А зря. Следует людям, вступающим в брак, помнить пословицы: «Знайся конь с конём, а вол с воллом», «Яблочко от яблоньки не далеко укатывается». Не нужно и забывать того, что биологи установили: из человеческих детёнышей, которые до семи лет воспитывались зверями (волками, как Маугли), никогда не вырастут люди.

Мы с Колей до семи лет воспитывались, конечно, в людской среде, но в очень разной, и это не могло потом не сказаться на наших отношениях. Как-то его друг, анализируя при мне причины своих конфликтов с женой, сказал: «Что не говори, Николай, мы с тобой росли в деревне, и от нас до сих пор навозцем пахнет, а она – профессорская дочь».

От «запаха навозца» Коля изо всех сил избавлялся: очень много читал, посещал разные культурные мероприятия и заведения, а вот избавиться от генетической предрасположенности не смог. Думаю: она была, эта тяга к спиртному, причиной его первого развода. Его родители тоже не самостоятельно её приобрели, а получили по наследству. Омичи в мою бытность много пили, и в каждом кафе наряду с солонкой на столе обязательно присутствовал большой стеклянный кувшин с пивом. Официанты и не думали смотреть, кто и сколько из него наливает. Обязательным домашним напитком была бражка. Пили много и раньше, ещё до революции. Но не в одиночку, а на всякого рода празднествах, коих случалось немало.

Ситниковы были праздничными, развесёлыми людьми и сами себе устраивали праздники, не сообразуясь с календарём. «Скучно вы живёте», – сетовала моя свекровь, приезжая к нам в Рязань из Омска. «Скучно живёте», – вторила ей сестра свёкра, тётя Маруся, гостившая у нас без неё, и рас-

сказывала о деревенских праздниках своей молодости. Там пляски сменялись песнями, песни играми, а те смешными озорными соревнованиями. Например, свеча гасилась воздухом вовсе не с помощью рта, или участники, парни и девушки, соревновались, кто собственными средствами, что всегда с собой, дальше брызнет на забор. «Я всегда побеждала!» – смеялась тётя Маруся. «Приятная во всех отношениях» была она женщина. Она-то, вроде моей бабушки Дуни, и любила рассказывать хронику своей семьи. Кое-что я запомнила и сейчас передаю.

Мои свёкор, Иван Максимович Ситников, и свекровь, Прасковья Даниловна, в девичестве Иванова, жили в одном селе. Возможно, там оба и родились Она примерно в 1899 году, он в 1902. Но социальное положение имели разное. У Ивана была большая бедная крестьянская семья, где все спали вповалку на полу. Кровать в доме появилась только после того, как женился старший Иванов брат, имени которого я не помню. Отец Прасковьи имел кирпичный завод. Думаю: сезонный, но приносил он неплохие доходы. «Мы жили богато,– вспоминала свекровь,– кухарка каждый день пироги пекла». Кроме кухарки, была в доме ещё какая-то прислуга. Но об этом моя свекровь, «поддерживающая, как сама говорила, политику партии и правительства», распространяться не хотела. О прислуге и большом доме Ивановых рассказывала тётя Маруся.

По её воспоминаниям, Данила Иванов прибыл в Сибирь из Тамбова, где вроде бы купечествовал, а, может быть, стал купцом уже на новом месте. Но дело у него ладилось, потом и сын стал помогать. Дочка, единственная, Паша нужды не знала и росла белоручкой. Учить её, отдавать в чужие люди, отец не хотел: было у неё здоровье неважное, да и ростом и дородством не вышла. В общем, с пелёнок её готовили к выгодному замужеству и выдали за парня из богатой семьи. А вскоре началась война 1914 года, и его призвали. То ли до его призыва, то ли после Паша родила дочь, но материнство рук ей не связало. Стала она, солдатка, ходить на гулянки. А на них появился добрый молодец Иван Ситников – косая сажень в плечах, роста богатырского (Паша ему до плеча не доставала), волосы цвета пшеницы, румян, добродушен. Она, такая маленькая (по его словам, «лёгкая, как пёрышко, – на плечо посажу, не чувствую»), пленила парня, только-только вышедшего из отрочества. Он же Паше так понравился, что про дочь она и вовсе забыла. Стали они встречаться. А как встречи в деревне скрыть? Да и не очень они скрывались. Однажды их отец Ивана, Максим, на покосе под телегой застал и оглоблей оттуда выгнал. Сына побил: нечего молодому парню с солдаткой якшаться – блуд это. Скандал на всё село. Купец Данила Иванов тоже стал применять какие-то меры, да и семья мужа Паши не оставила без внимания незаконную связь невестки, да ещё с малолеткой, у которого и усы ещё не пробились.

«А Пашуня так из себя выходила, что на стены лезла,– рассказывала тётя Маруся,– да, да, как ненормальная, карабкалась. Тогда и пить начала. Напьётся бражки и ходит по селу, куролесит».

Запер Данила Иванов любимую дочь в клетки, а та в маленькое окошко, под самым потолком вылезла и убежала вместе с Иваном куда глаза глядят. Тут вскоре революция началась. Беглецов не

нашли, да, наверное, и не искали. Девочка умерла, кажется, ещё до побега матери. Что стало с отцом Паши, тётя Маруся не знала, потому что и сама эту деревню покинула. Брат же Паши погиб, сражаясь на стороне Колчака.

Молодые как-то приспособились к новой жизни, кочуя всё дальше на запад.

Кстати, по семейному преданию Ситниковых, слышанному мной от самого Ивана Максимовича, они чалдоны, то есть коренные сибиряки, и некогда жили в Иркутске или подле него, а потом стали передвигаться на запад.

Иван Максимович со своей малюткой-женой добрался только до Уфы, где работал кондуктором на трамвае (а был ли в Уфе трамвай?), но что на трамвае, то хорошо помню. Потом супруги с семейством повернули назад. Возможно, потому, что они перемещались из города в город, дети у них умирали один за другим. Коля появился на свет в Курганской области в 1929 году и был девятым. Всего же родилось десять мальчиков, а дожило до зрелых лет двое.

У старшего Колиного брата Ивана было трое сыновей...

Долго ли коротко, но доехали Иван Максимович и Прасковья Даниловна с сыновьями до Омска, точнее до какой-то деревни близ него. Узнали только тогда, что большое семейство Ситниковых распалось. Главу семьи раскулачили и куда-то отправили дальше. При советской власти бывший бедняк Максим Ситников, работая с сыновьями в своём хозяйстве, не покладая рук (перед тем они получили землю, какой до революции у них не было), сделал его настолько завидным, что кому-то это очень не понравилось, и пустил этот кто-то работяг Ситниковых по миру.

Младший сын Максима, Михаил, бедствуя, украл мешок чего-то – то ли зерна, то ли просто соломы – и попал в заключение на десять лет. Дочь Маруся обзавелась внебрачным сыном Юрой и похвастаться хорошей жизнью тоже не могла. В результате этих нерадостных событий в семье у Ивана Максимовича оказалась и его мать.

А вскоре ему пришлось отправиться на Отечественную войну. Призвали его в сорок лет (это был последний возраст призыва). На войне Иван Максимович не получил ни единой царапины. Но душевную травму война причинила, незаживающую. Добродушный и доброжелательный, он не мог забыть, что ему приходилось убивать людей, на каждого из которых он не держал зла. «Но, возможно, я никого и не убил, – говорил он, успокаивая себя, – мы бежали и стреляли вперёд, не целясь». Когда он это рассказывал, невозможно было представить его бегущим из-за его массивности и одышки. «А в первый бой я так и вообще без ружья пошёл, – неизменно добавлял он, – сказали нам, новобранцам, чтобы ружья убитых взяли».

Мирной жизни долго радоваться Ивану Максимовичу не довелось. Он оказался в тюрьме за растрату денег. Работал в какой-то организации кассиром, получил деньги на зарплату и, едучи с ними в санях, как-то их выронил. Это его версия. Версия Прасковьи Даниловны другая: после войны он обзавёлся зазнобой, женщиной, вхожей в их дом, и грешил с ней чуть ли не на глазах у жены.

Та заставляла неосторожных любовников то в подполе, где они принимали от неё картошку, то в сарае, где увидеть их вдвоём она никак не ожидала. Вот на эту зазнобу, по мнению Прасковьи Даниловны, и потратил он казённые денежки и оставил жену, едва оправившуюся от тягот войны, одну с двумя ребятами, которых надо было учить.

Но ничего, братья учиться любили – и самостоятельно, без материальной существенной поддержки, постепенно приобрели высшее образование. Сначала учились в авиационном техникуме, потом заочно и вечером – в институтах. Причём Николай менял их, не зная, на каком остановиться. Закончил, наконец, политехнический институт, филиал которого находился на авиационном заводе.

Матери действительно было трудно растить их, очень. И она находила утешение, черпала силы всё в той же выпивке. К концу 1957 года, когда судьба свела меня с Ситниковыми, она уже стала алкоголичкой. Но, борясь с её дикими выходками, все члены семейства сами продолжали пить и поощряли на выпивку друг друга.

Николай пьянел от первой же рюмки, потом уже не мог остановиться, а ему всё подливали и подливали. Я не в силах была им противостоять, разрушить их семейные традиции, их частые встречи (родители жили в деревне). Надо было принимать какие-то действенные меры – или расходиться, или уезжать из Омска. Решили мы с Колей уехать, тем более выяснилось, что сибирских морозов я не могу выносить. Разумеется, наше решение было принято свёкрами в штыки, как большая обида. Мой отъезд не стал бы для них большой неприятностью, одну невестку они уже провожали. Отъезд же сына они воспринимали как потерю на всю жизнь. После тщетных уговоров Иван Максимович даже проклял его. И напроорочил, что рано или поздно Николай вернётся в Омск и умрёт на родной земле. Вспомнил, будто бы то же самое посулил когда-то ему и его отец. Его он также по молодости, по глупости порицал за пьянство, а тот сказал как-то: «Эх, Иван, не тебе судить меня: сам станешь выпивохой и умрёшь с перепоя». И в заключение, плача, Иван Максимович заявил: «И тебя, Коленька, такая же судьба ждёт».

Мы не поверили пророчеству и уехали, обосновались в Рязани.

Проклятие, однако, не помешало Колиным родителям вместе и поодиночке навещать нас.

Мать, приезжая одна, несколько дней стоически держалась, была любезна и ласкова с нами, а позднее и с внуками, потом не выдерживала. Что-то где-то принимала в наше отсутствие, но всегда оказывалась дома к нашему приходу с работы. На Колин же упрёк или только на неодобрительный взгляд тут же воинственно отвечала: «А ты, дорогой сыночек, глазками-то не посверкивай – не на твои пила. Вот сдала бутылочки – и купила чекушку». Бутылочки были наши, но она правильно рассудила, что в дальнейшем их ждал мусорный контейнер. И, нарываясь на конфликт, хвалилась какой-нибудь своею хозяйственной инициативой, реализованной в нашем доме, пола-

гая, что она нас не обрадует. И действительно, я не обрадовалась, когда она показала новёхонькие, связанные ею, коврики к дверям, на которые пустила, порвав на ленточки, мои праздничные платья. На моё же горестное изумление свекровь ласково заметила: «Да ты, Ирочка, не больно-то огорчайся. Всё равно же их не носила. Ни разу я на тебе их не видела. Зря только место в шкафу занимали». Да, я их не носила – надевала по разным торжественным случаям.

Не имея достаточно веских причин обвинить нас в чём-то, она, приезжая, неизменно говорила: «Ну и за...сь вы!», а уезжая, оставляла в укромных местах кусочки каких-то эксκριментов.

Но при всём при том, намеренно затевая скандалы, ругая сына и нас обоих, она никогда не употребляла мата. Не слышала его я и от Ивана Максимовича, Коля тоже не ругался, хотя в Омске мат процветал в разговорной речи.

Приезжал к нам и старший брат Николая, Иван, очень правильный и разумный человек, «настоящий партиец», как характеризовала его мать. Был он парторгом цеха на том же заводе, где работала в Омске и я. И заведовал там отделом труда и заработной платы. Женился на своей односельчанке, ставшей врачом, а потом и заведующей отделением в психиатрической больнице. Очень красивая блондинка, она держала в страхе своих, наших, свёкров, наверное, и мужа. Для детей в качестве устрашения повесила на стену у дверей гостиной плётку трёххвостку. И говорила мне смеясь: «Профессия обязывает, я теперь и к детям, словно к пациентам, стараюсь спиной не поворачиваться. И, как дрессировщица, плёткой размахиваю». Несмотря на строгие методы воспитания, на постоянный пригляд за ними бабушки с материнской стороны дети росли и выросли неуёмными.

Иван приезжал нас мирить, когда мы решили расходиться, и помирил, съездив за мною в Моршанск, где произвёл на моих родителей приятное впечатление. Надо сказать, что Колю все мои близкие полюбили. Понравился родителям и Иван Максимович.

Да что говорить, хорошие они все были люди, и не понятно мне, за что их сгубило пьянство. Может быть, за грехи далёких предков? В связи с этим предположением вспомнилась мне информация, почерпнутая в журнале «Наука и жизнь» № 8 за 2008 год:

Во времена Екатерины II, в конце 80 годов XVIII века, у российских берегов потерпела крушение японская шхуна, и шестеро моряков оказались в Иркутске. Один из них умер, «другому, по имени Сёдзо, ампутировали ногу. Боясь, что в случае смерти его похоронят как скотину, Сёдзо принял православие и стал называться Фёдором Степановичем Ситниковым».

Уж не от этого ли японского пирата вели свою родословную мои Ситниковы? Мой отец, ничего не зная о Сёдзо, называл Колю японцем. Все Ситниковы, будучи не по-японски блондинами, имели узкие глаза и жёлтую кожу. И старшего моего сына притянула к себе и продолжает удерживать Восточная Азия: шесть лет уже на Тайване, сына завёл от цейлонки.



Привычно вздохнув по этому поводу, я прервала воспоминания и отправилась гулять по своей зелёной, тихой и не имеющей тротуаров улице. Вдалеке, впереди неуверенно передвигалась молодая, судя по одежде пара, она и он. Вдруг женщина упала. Мужчина попытался её поднять и оказался с ней рядом. Она поднялась сама – и вновь упала, плашмя, лицом на асфальт.

Я изменила свой прогулочный маршрут. Мой опыт помощи пьяным научил меня передоверять это дело специалистам – милиционерам. На новом маршруте меня ждали иные картины, участниками которых были опять-таки пьяные. Один безмятежно спал на скамейке автобусной остановки, предварительно разувшись и аккуратно поставив под скамейку сандалии. Другой скорчился на газоне. Был прекрасный летний вечер накануне выходных дней – пятница. Мне то и дело попадались группки молодых уже взбодрившихся мужчин. Несколько человек у закрытого банка безрезультатно осаждали банкомат. Вот и новые молодые, полные сил и энергии люди спиваются.

Как я боюсь за своих сыновей и внуков!

Пророчества сбылись и Максима, и Ивана Ситниковых. Иван Максимович умер в день своего семидесятилетия, 8 января 1972 года, на омской земле, выпив какой-то гадости сверх меры. Из-за алкоголизма умер и Николай 18 июня 2010 года в Омске.

Сбылось и ещё одно странное гадание. Как-то мы, молодые и влюблённые, ехали с Колей куда-то из Рязани. Нашими попутчиками в купе оказались старый профессор рязанского пединститута, очень старый на вид и немощный, и полный сил и желания производить приятное впечатление шофёр. Привыкший тянуть успешно одеяло на себя, шофёр не мог понять, почему мы отдаём предпочтение профессору. Старого же господина, видимо, в силу его профессии привлекали молодые люди. И он, истощив запас всяких интересных историй, принялся демонстрировать нам своё искусство хироманта, прежде определив, что имеет дело с молодыми инженерами. Погадал Коле и сообщил, что тот женат вторично, но не последний раз. В подтверждение своего прогноза осмотрел мою ладонь и предрёк мне двоих детей и то, что я с мужем разойдусь, после чего у меня начнётся новая профессиональная карьера. Для того чтобы уяснить, какая именно карьера, ему необходимо было обследовать мою ступню. От гадания на ступне я решительно отказалась, потому что не была уверена в её чистоте, а гадание посчитала светским развлечением. Шофёр же в чистоте собственной ступни не сомневался, но профессора она не прельстила. Предсказывать ему судьбу даже по руке профессор отказался. Нас же его предсказания только повеселили: представить, что когда-нибудь разойдёмся, мы не могли и считали тогда подарком судьбы свою случайную встречу у болванки в заготовительном цехе омского завода.

Из Рязани Николай уехал с матерью в 78-м году в Омск. Я осталась с двумя сыновьями, четырнадцати и семи лет, но теперь уже его отъезд считала подарком судьбы.

Мой муж, мой бывший муж

В далёком городе взял в жёны  
Женщину хорошую,  
Большого сына воспитавшую,  
От одиночества уставшую.,  
И вот теперь мне пишет письма нежные  
И называет в них меня женой родною.  
А та, выходит, для него – женачиха.

Он не только писал и звонил, но и приезжал периодически и принимал участие в наших садово-огородных начинаниях. Мы вместе обсадили участок шиповником. Он с Константином вырыл там колодец и соорудил теплицу. И одно из моих самых светлых воспоминаний как раз связано с нашей жизнью втроём на садовом участке в Новой Пустыни в конце лета и осенью 1993 года. Стояли прекрасные тёплые дни. Мужчины рыли и обкладывали срубом колодец, а я готовила пищу на сооружённой Колей печурке. Рядом был лес с грибами и цветами, были чудесные серебристые ночи, интересные беседы у костра.

Получив высшее образование и, приобретя поначалу городскую, очень специфическую профессию конструктора-плазовика, Николай не смог оборвать своих сельских корней. Его притягивала земля, труд на ней, сельхозмашины. Недаром же он работал на целине в МТС. Оставил её только потому, что возможностей заглянуть в стакан там, по его запоздалому признанию, было больше, чем в городе.

Способный, хороший инженер, член партии, Николай не сделал профессиональной или партийной карьеры не потому, что не смог преодолеть тяги к выпивке, а потому, что совершенно не был честолюбив и считал, что достиг поставленной себе ещё в детстве цели: жить в городе и сделаться инженером. Инженером, а не певцом, хотя имел прекрасный голос – тенор, удивительного тембра. Но пел он только в домашних компаниях. Наверное, если бы он стал участвовать в художественной самодеятельности, то обязательно нашёлся бы человек, который направил бы его в какое-нибудь музыкальное училище. Но он самостоятельно выбрал свой профессиональный путь, и кумир его, которого он часто вспоминал и который был для него примером, не витал где-то в заоблачных карьерных высотах – занимал земную должность преподавателя ПТУ (профессионального трудового училища), имел в кармане красную книжечку – партбилет. Коля партбилетом тоже обзавёлся ещё в ранней молодости, а кандидатом партии стал едва ли не в 18 лет. «Я всю дорогу от райкома партии до дома, километров 20, бежал, чтобы порадовать своих», – вспоминал он. Потом партийный пыл у Николая угас. Он позволял себе критиковать (дома, конечно) столпов коммунизма и политику партии и моя беспартийность его не удивляла.

Свекровь же оставалась рьяной беспартийной коммунисткой и в пьяном угаре произносила длинные здравицы в честь партийных лидеров. Особенной симпатией у неё пользовался «товарищ Хрущев». (Она делала ударение в фамилии на первом слоге и произносила её с пиететом.)

Когда я спрашивала, почему она, дочь купца, так привержена советской власти, свекровь объясняла, что советская власть дала свободу женщине, позволила трудиться на производстве. Она сама трудилась всегда в детском саду поварихой, но считала работу у котлов производством. Ещё, говорила она, что благодарна советской власти за то, что сыновья её стали инженерами.

И тем не менее даже при смене социального строя она и отец Коли накрепко оказались привязаны к сельской жизни. Они пытались осесть в Омске, отец получил даже квартиру, одна комната в ней потом перешла Коле. Но городская жизнь оказалась не по ним. Село переманило собственным приусадебным хозяйством. Они стали жить в загородном хозяйстве биофабрики, где Иван Максимович трудился бухгалтером. Как он стал бухгалтером, какое и когда получил образование, не знаю. Но ежемесячно он приезжал в Омск с различными бухгалтерскими отчётами, особенно волновал его квартальный. С его приездом появлялось у нас мясо (в омских магазинах его не продавали), которое он приобретал на биофабрике. Правда, оно было обескровленным – кровь шла на гемоглобин. Мать привозила собственных нормальных гусей. Почему-то гуси в омской округе разводились чаще кур. Держали свёкры и корову. На её молоке отъелся подобранный мной котёнок Маркиз.

Мы с Колей как-то побывали в гостях у его родителей, предварительно заблудившись в степи. Вышли из автобуса в сумерках – и, как витязи на перепутье, увидели несколько идущих от остановки сначала рядом, а потом расходящихся в разные стороны дорог.

Добрались до села часа через три, только поздним вечером, когда в темноте увидели огни комбайнов.

Природный антураж вокруг села мне не понравился. Растительный мир, которым обычно прельщается горожанин, оказался скудным: бескрайняя ровная степь и на ней островки берёз, в них же какие-то поганки, которые омичи отважно солят и едят. Но каждому своё. Трююродная сестра Коли по матери, Гутя, Августа, тоже предпочла Омску село, другое. У неё мы тоже побывали. Она учительствовала и была замужем за каким-то сельским механизатором, занималась домашним сельским хозяйством: скотина, огород. Хвалясь своими достижениями, показала растущие на высокой навозной грядке огурцы. С этой агротехникой я была знакома, так же выращивали огурцы на Урале. «Жаль, – сказала Гутя с искренним сожалением, – не могу вас огурцами угостить – не поспели. Видите, ещё зелёные, – и показала огурец прекрасного товарного вида. «Да это как раз то, что надо! – воскликнула я. – Можно сорвать и съесть?» – «А ты не отравишься?» – забеспокоилась Гутя и из чувства солидарности тоже сорвала огурчик и надкусила. «Нет! Не поспел – совершенно

безвкусный. Спелый огурец должен быть с кислинкой», – не согласилась она с моими гастрономическими познаниями. Коля тоже предпочитал семенные огурцы.

В Рязани он прожил 17 лет и лишь раз ездил гостить к родителям с Игорем, да ещё на похороны отца.

А Виктор в Рязани задержался лишь года на два и получить квартиры не сумел. Некоторое время они с Ниной пожили у нас и вынуждены были опять вернуться в Моршанск, а потом и разойтись.

Бабушка Дуня считала, что разошлись они исключительно потому, что вместо ожидаемого Виктором Александровичем сына родилась дочь. Бабушка не желала понять: всё дело в том, что Виктор женился, не любя. Любила ли его Нина, не знаю. Но осенью 1960 года она вышла замуж за того самого Леонида Поттиенко, что мальчишкой сопровождал меня в моршанскую школу, чью мать мой отец знал в юности и с чьим отцом учился в институте. Леонид осуществил свою давнюю мечту – стал моряком дальнего плавания, дослужился до капитана. Он приехал к Нине в Моршанск налаживать их прерванные её замужеством отношения как раз в день похорон бабушки.

И после этого второго своего замужества Нина не раз говорила, что нам следовало удержать её от замужества с Виктором – тогда она была просто глупой девочкой.

Думаю: ни у Нины, ни у меня, ни у Виктора не было тогда, в 1957 году и позже, любви. Было предчувствие её, желание любить и быть любимыми. Как у Блока:

Предчувствую Тебя. Года проходят мимо –

Всё в образе одном предчувствую Тебя.

Интересно, что в конце жизни бабушка изменила своё мнение о любви и призналась мне: «Больше всего, Нирочка, я жалею о том, что не было в моей жизни любви».

Бабушка умерла не от какой-нибудь болезни в 83 года, а по собственному желанию.

Случилось так, что мои родители наконец-то решили отправиться в путешествие по Украине, навестить в Киеве Соббатовского, в Житомире бабушку и дядю, то есть мать и брата мамы, и поехать дальше в Одессу к тётке Шуре. Бабушка Дуня осталась с Ниной и двухлетней правнучкой.

Письма от путешественников приходили нерегулярно, о своём перемещении они не телеграфировали, да и, вырвавшись, наверное, потеряли счёт времени и не спешили сообщать о себе. Беспокойная бабушка решив, что они попали в какую-то катастрофу и она теперь будет обузой внучке, перестала есть. Слегла. Нина вызвала меня, но я ничего изменить не смогла. Врачи, которых мы приглашали, разводили руками. Ничего уже сделать не смогли и приехавшие родители.

Нина вскоре уехала в Ленинград, где Леонид учился в высшем мореходном училище, а дочь оставила на попечение родителей.

Вообще надо сказать, что наши родители много сделали для своих дочерей и подолгу занимались внуками, никогда не давая нам с Ниной понять, что делают одолжение. А внуков стало со време-

нем четверо – у Нины две девочки, у меня два мальчика, идущих друг за другом в такой последовательности: Лена (1958), Игорь (1961), Женя (1964), Костя (1968). Каждое лето эта четвёрка пребывала в Моршанске.

Родители в год окончания мною института (в 1957-ом) переехали в отдельный дом с садом, который сами посадили, на тихой зелёной улице. Отец обзавёлся маленьким мотоциклом, на котором не боялся возить старшую внучку даже дошкольницей. На машину он не решился потратиться и – деньги опять пропали. Была у него и моторная лодка. Какое-то время он охотился, мечтал, что, выйдя на пенсию, будет ещё и путешествовать. Но не довелось. Его настиг инсульт во время первого же путешествия в Литву, в Клайпеде, где Леонид получил квартиру.

Оправиться по-настоящему отец после болезни не смог, но доработал до пенсии. Правда, уже как главный конструктор, а не главный инженер. Умер он в 1988 году, 20 мая, двух недель не дожив до 81 года.

Несколько лет жил, лишённый способности говорить и двигаться. Мама ухаживала за ним стоически. И дело это было нелёгким и морально, и физически. Она очень уставала. Однако смерть мужа очень её опечалила. Когда мы с Ниной, утешая, начали говорить, что она не одинока, пока есть дети и внуки, то в ответ слышали резкое: «Никто из вас мне его не заменит!»

И ещё девять лет мама жила одна в Моршанске. И мы, дети и внуки, по родственному долгу навещали её. У меня каждый раз, когда я смотрела на одинокую фигуру, машущую на прощанье нам от калитки, или, когда представляла себе, как мама одна-одинёшенька засыпает при свете, не сняв очки, с книжкой на груди, сердце, как говорится, обливалось кровью. Но мама изо всех сил держалась за свою свободу и додержалась до того, что соседи меня вызвали: она серьёзно заболела. Пришлось мне, Игорю и Косте перевозить больную в Рязань. Выходили. И ещё восемь лет мама прожила у меня. Но уже тоже даже в первые годы своей рязанской жизни не могла ходить дальше двора.

Но во время своего моршанского одинокого житья она предприняла всё-таки пару дальних поездок. Съездили мы в компании моей невестки Люды, первой жены Игоря, и их единственной дочки Аси в Житомир. Дядя одарил нас путёвками в пансионат в сосновом бору на берегу Гуйвы. Было ему тогда 75 лет, но он лихо водил машину и ловко грёб, катая нас на лодке по тихой и ласковой Гуйве.

Вот только тогда я почувствовала с ним прочную родственную связь, пережила минуты острого огорчения от его старости. Она обнаруживалась лишь тогда, когда после прогулки он прилегал на кровать, в пансионате, оставляя ноги на полу, как некогда бабушка Дуня, и моментально засыпал. Он был очень сильным человеком, созданным для мирной жизни, и никогда ничего не рассказывал о войне. Я с удивлением обнаружила (на фотографиях), что он имел воинские награды.

Я во время этого путешествия ревностно следила за мамой, оберегала, считая её древней старушкой, в 77 лет. Очень перепугалась, когда однажды она отстала от нас или опередила, гуляя по Житомиру, совершенно упустила из виду, что для неё Житомир – родной город.

И там в предместьях Житомира, стоя на высоком берегу Тетерева и любясь открывающимися видами, я вдруг поняла, что это земля моих предков, что самая моя большая потеря то, что меня оторвали от неё.

На следующий год мы уже вдвоём с мамой отправились к папиному двоюродному брату, дяде Коле Подберезскому, в Выксу. Дяде было уже за восемьдесят. Он на старости лет женился на своей некогда оставленной любви Маше. Он-то и рассказал мне историю их любви. Мы сидели с ним вдвоём в старинном парке, посаженном ещё Баташёвыми. Много интересного он тогда поведал, да я не запомнила: о знакомстве в студенческие годы с Леонидом Брежневым, который был его однокашником по институту, о службе под началом у Рокоссовского.

Интересно, что в своём, так называемом пожилом, возрасте я вдруг почувствовала родственную близость с дядьями куда большую, нежели с их детьми. И так грустно, что нет уже дядьёв в живых. С их же детьми связь не наладилась.

После смерти дяди Коли обнаружилась вдруг его племянница, дочь младшего брата Дмитрия, Людмила – Гончарова, по бывшему мужу и матери. Она принялась собирать сведения о Красногорских и даже написала о них книгу. Ещё во время работы над книгой опубликовала несколько очерков о них в «Московском журнале», что-то попало в Интернет, и на неё вышел какой-то очень дальний наш родственник – Красногорский. Они принялись работать над книгой вместе. Я предоставила Людмиле право опубликовать фотографии Красногорских из своего архива.

Спасибо бабушке Дуне, сберегла их в лихолетья. Спасибо бабушке Дуне, что сохранила в памяти эпизоды из жизни наших предков, что не держала их при себе. Жаль, не записала их сама, а ведь вполне смогла бы. На фотографиях и кое-каких книгах мне попадались её комментарии к событиям, меткие и остроумные.

Надеюсь, что эту семейную летопись со временем продолжит кто-нибудь из моих внуков. Их сейчас четверо: Ася (1984), Дима (2005), Ира (2008) Ситниковы, обитающие пока в Рязани, и Игорь (2006?) уроженец и житель Цейлона. Но, вполне возможно, что сделает это кто-нибудь из внуков Нины – Алина Красногорская (1980) или Дмитрий Ус (1982) или её правнучка Дина Журавлёва. Лёгкого пера моему последователю!